

Келли Риммер

ВЕЩИ,
О КОТОРЫХ
МЫ НЕ МОЖЕМ
РАССКАЗАТЬ



Келли Риммер
Вещи, о которых мы
не можем рассказать
Серия «В поисках утраченного счастья»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67877298

*Вещи, о которых мы не можем рассказать: [роман] / Келли Риммер; –
[перевод с английского М. Манучаровой].: АСТ; Москва; 2022*

ISBN 978-5-17-146750-0

Аннотация

Автор ловко сплетает воедино рассказ Алины, влюбленной молодой женщины, пытающейся наладить жизнь во время Второй мировой войны в Польше, и ее внучки Элис – вечно измотанной матери, изо всех сил пытающейся вырастить сына, страдающего аутизмом, и одаренную дочь.

Алина просит Элис поехать в путешествие в Польшу, чтобы уладить какое-то дело, связанное с семейной тайной, которую женщина хранила почти 80 лет. Вопреки здравому смыслу Элис соглашается помочь своей бабушке, оставив детей на попечение мужа. В этом путешествии ей предстоит открыть забытые секреты, узнать настоящую историю своей семьи, постигнуть, что на самом деле означает верность, любовь и честь.

Содержание

Пролог	6
Глава 1	10
Глава 2	24
Глава 3	35
Глава 4	50
Глава 5	76
Глава 6	100
Глава 7	110
Глава 8	124
Глава 9	145
Конец ознакомительного фрагмента.	148

Келли Риммер

Вещи, о которых мы не можем рассказать

*Посвящается Дэниелу, у которого всегда есть
отличные идеи*

Kelly Rimmer
THE THINGS WE CANNOT SAY

Серия «В поисках утраченного счастья»

Печатается с разрешения литературных агентств
Jane Rotrosen Agency LLC и Andrew Nurnberg

Перевод с английского *Марины Манучаровой*



© 2019 Kelly Rimmer

© Манучарова, М., перевод, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Пролог

Советский Союз – 1942 год

Полуголодный, полузамерзший и одетый в лохмотья священник, который вел мою свадьбу, оказался весьма изобретательным: он благословил кусок заплесневелого хлеба, полученного на завтрак, чтобы тот мог послужить облаткой для причастия.

– Повторяй слова клятвы за мной. – Он улыбнулся. В глазах защипало, но я произнесла традиционную клятву онемевшими от холода губами.

– Я беру тебя, Томаш Сласки, в мужа и обещаю любить, почитать и уважать тебя, быть верной тебе и не оставлять тебя, пока смерть не разлучит нас, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Я смотрела на свою свадьбу с Томашем как на маяк, точно так же, как моряк в бурном море устремляет свой взгляд на спасительный огонек на далеком берегу. В течение многих лет наша любовь давала мне силы жить, переносить все и бороться, и день нашей свадьбы должен был стать короткой передышкой от всех невзгод и страданий. Однако реалии того дня оказались совсем иными, и мое разочарование казалось больше, чем сам мир.

Мы должны были пожениться в величественной церкви

нашего родного города. А вовсе не здесь, сразу за палаточным городком Бузулукского лагеря беженцев и военных, расположившись достаточно далеко от палаток, чтобы отвратительная вонь, исходившая от восьмидесяти тысяч отчаявшихся душ, не так сильно ощущалась в воздухе. Желание хотя бы на время избавиться от толпы и запаха стоило дорого: мы стояли на открытой местности, защищенные только ветвями кустов ели. Был не по сезону холодный день для осени, и время от времени с тяжелых серых небес падали крупные снежинки, чтобы растаять в наших волосах и одежде или создать еще больше грязи на земле вокруг наших ног.

Своих «друзей», окруживших нас, чтобы поздравить, я знала всего несколько недель. Все те люди, которые когда-то были важны для меня, оказались в концентрационном лагере, или умерли, или просто пропали. Мой жених неловко отказался от причастия – жест, который привел в замешательство бедного, доброго священника, но нисколько не удивил меня. Даже будучи невестой, я не смогла переодеться, на мне был единственный имеющийся комплект одежды, и к тому времени некогда простые процедуры – такие как купание – стали давно забытой роскошью. Нашествие вшей, охватившее весь лагерь, не пощадило ни меня, ни моего жениха, ни священника, ни кого-либо в небольшой толпе гостей. Все наше собрание постоянно двигалось и дергалось, отчаянно пытаясь унять непрекращающийся зуд.

Мои чувства притупились от потрясений, что было почти

благодарением, потому что, вероятно, это и спасло меня от слез во время церемонии.

Пани Кончаль была еще одной новоиспеченной, однако почти сразу стала очень близким другом. Она отвечала за сирот, и я трудилась вместе с ней на обязательных работах с момента прибытия в лагерь. Когда церемония закончилась, она вывела из толпы группу детей и одарила меня лучезарной улыбкой. Затем подняла руки, чтобы дирижировать, и вместе с импровизированным хором начала петь «Сердечну Матко» – гимн Возлюбленной Матери. Сироты, грязные, тощие и одинокие, как и я, в этот момент не казались грустными. Напротив, их полные надежды взгляды были сосредоточены на мне, и им не терпелось увидеть меня довольной. Мне ничего так не хотелось, как погрязнуть в ужасе моего положения, но надежда в невинных глазах взяла верх над моей жалостью к себе. Я заставила себя улыбнуться им всем яркой, гордой улыбкой, а затем дала себе обещание.

В этот день я не позволю себе слез. Если эти сироты столь великодушны и мужественны, несмотря на их ситуацию, то и я смогу.

После этого я сосредоточилась только на музыке и звуке великолепного голоса пани Кончаль, поднявшемся высоко над нами и окружившем нас пронзительным соло. Ее тембр был нежным и искренним, и она меняла мелодию, словно играла, принося мне что-то близкое к ощущению радости в момент, который обязан быть радостным, принося мне ощущение

ние покоя в момент, который обязан быть мирным, и снова возвращая меня к вере, от которой я была готова отказаться.

И пока продолжалась эта песня, я закрыла глаза и подавила свой страх и сомнения, пока снова не смогла поверить, что разбитые осколки моей жизни однажды окажутся на своих местах.

Война отняла у меня почти все, но я не позволила ей поколебать мою уверенность в человеке, которого я любила.

Глава 1

Элис

У меня сегодня отвратительный день, но как бы плохо я себя сейчас ни чувствовала, я знаю, что мой сын чувствует себя хуже. Мы в продуктовом магазине в нескольких кварталах от нашего дома в Уинтер-Парке, штат Флорида. Эдди лежит на полу, его ноги дергаются, и он кричит во всю силу своих легких. Он компульсивно хватается за плечи, где уже начинают формироваться уродливые фиолетовые и красные синяки. Эдди весь заляпан йогуртом, потому что когда двадцать минут назад все это началось, он обрушил полки холодильника на пол, и теперь на плитках вокруг него лежат пакеты различных форм и размеров, создающих все больше грязи вокруг его дергающихся конечностей. Кожа его лица покрылась пятнами от напряжения, а на лбу выступили капельки пота.

За последние несколько лет Эдди сильно прибавил в весе из-за лекарств, которые принимает, и теперь он весит шестьдесят восемь фунтов – это больше половины моего веса. Я не могу поднять его и отнести в машину, как сделала бы раньше. И в те годы было нелегко переживать подобные срывы на публике, но тогда все было немного проще, потому что мы могли просто ретироваться.

Сегодняшняя катастрофа произошла, когда Эдди подошел к отделу йогуртов. У него относительно широкие предпочтения в йогуртах по сравнению с его сверстниками в специальной школе, которую он посещает. Он, по крайней мере, согласен есть и клубничный, и ванильный *Go-Gurt*¹. Не может быть никаких замен на другую марку или упаковку – и нет смысла пытаться заправлять старые тубики, потому что Эдди видит все насквозь. Это должен быть *Go-Gurt*. Он должен быть клубничным или ванильным. Он должен быть в тубике.

Недавно кому-то в *Go-Gurt* неожиданно пришло в голову улучшить графический дизайн тубиков – логотип изменился, а цвета стали более яркими. Я уверена, что никто в этой организации не представлял, что такое незначительное изменение однажды приведет к тому, что сбитый с толку семилетний мальчик в ярости разгромит целый ряд в супермаркете.

Для моего сына *Go-Gurt* существует только с прежней этикеткой, а эта новая наклейка означает лишь одно: Эдди больше не признает *Go-Gurt* как допустимую еду. Он знал, что мы собираемся в магазин за йогуртом, однако, придя сюда и взглянув на длинный ряд, он обнаружил много разных упаковок, но исключительно те, которые он идентифицирует

¹ Go-GURT – американская марка обезжиренного йогурта для детей, известная как «Yoplait Tubes» в Канаде и «Frubes» в Соединенном Королевстве. Его выдавливают из тубика прямо в рот, а не едят ложкой.

как «не-йогурт».

Я стараюсь избегать подобных инцидентов, поэтому у нас дома в холодильнике всегда есть полка, целиком заставленная йогуртами. Если бы не недавняя госпитализация моей бабушки, я бы еще вчера, одна, пока Эдди был в школе, зашла в магазин, еще до того, как он съест последние два тюбика. И тогда мы не оказались бы перед фактом, что «йогурт и суп на исходе», и, черт возьми, единственная приемлемая для Эдди еда, что осталась в доме, это банка с супом, а он отказывается есть суп на завтрак.

Если честно, я не знаю, что мне теперь с этим делать. Единственное, что я четко понимаю, что если *Campbell's*² когда-нибудь изменит дизайн своих банок с тыквенным супом, я свернусь в маленький комочек и откажусь жить.

Может быть, я больше похожа на Эдди, чем думаю, потому что одна проблема сегодня заставляет меня чувствовать, что я тоже могу растаять. Помимо Эдди и его сестры Паскаль бабушка Ханна – самый важный человек в моем мире. Мой муж Уэйд и мать Юлита, вероятно, возразили бы против этого заявления, но я разочарована ими обоими, так что сейчас я чувствую именно это. Моя бабушка, или Бабча, как я всегда ее называла, в настоящее время находится в больнице, потому что два дня назад за обеденным столом в доме престарелых у нее, как теперь выяснилось, случился неболь-

² Campbell Soup Company, также известна как Campbell's – американская компания, крупнейший в мире производитель консервированных супов.

шой инсульт.

И сегодня я провела все утро в спешке – носилась по дому, мчалась в машине, бежала к отделу йогуртов – все для того, чтобы мы с Эдди могли поскорее добраться до Бабчи, чтобы провести с ней время. Я даже не хочу признаваться себе, что, возможно, тороплюсь даже больше обычного, потому что пытаюсь максимально использовать то время, которое у нас с ней осталось. На фоне этой суматохи я все больше осознаю, что ее время истекает.

У Эдди практически нет экспрессивного языка – чаще всего он не может описать словами действия или предметы. Он прекрасно слышит, но его рецептивные языковые навыки слабы, поэтому, чтобы предупредить его, что сегодня вместо того, чтобы отправиться на вокзал смотреть поезда, как мы обычно делаем в четверг, мне пришлось придумывать визуальные символы, которые были бы ему понятны. Я встала в 5:00 утра, распечатала несколько фотографий, сделанных вчера в больнице, затем обрезала их и прикрепила к его расписанию, сразу после обозначения «еда», значка *Publix*³ и «йогурт». Я написала социальный сценарий, в котором объяснила, что сегодня мы должны поехать в больницу, где увидимся с Бабчей, но она будет в постели и не сможет с нами поговорить, и что с ней все в порядке, и с Эдди все в порядке, и все будет хорошо.

Я осознаю, что большая часть утверждений в этом сцена-

³ Сеть супермаркетов в США.

рии лживы. Я не наивна – Бабче девяносто пять лет, шансы на то, что она в этот раз выйдет из больницы, невелики, и она, вероятно, совсем не в порядке. Но я сказала Эдди именно то, что он хотел услышать. Я усадила его перед расписанием и сценарием и пробежалась по ним, пока Эдди не открыл на своем айпаде коммуникационную программу, которую он использует – аугментативное альтернативное коммуникационное приложение, сокращенно ААК. Это простая, но жизненно важная концепция: на экран выдается серия изображений для каждого слова, которое Эдди не может произнести. Нажимая на изображения, Эдди может озвучить эти слова. Сегодня утром он на мгновение опустил взгляд на экран, затем нажал кнопку «да», сообщая мне, что он понял то, что прочитал, по крайней мере, до некоторой степени.

Все было хорошо, пока мы не приехали сюда и не обнаружили, что упаковка изменилась. После того, как все случилось, ко мне не раз подходили – то обеспокоенный персонал, то покупатели.

– Мы можем помочь, мэм? – спрашивали они сначала, но я качала головой, объясняла, что у сына аутизм, и отпускала их на все четыре стороны. Затем предложения о помощи стали более настойчивыми: – Мы можем отнести его к вашей машине, мэм?

Тогда я объясняла, что он и в лучшие времена не очень любит, когда его трогают, а если бы к нему стала прикасаться куча незнакомых людей, ситуация ухудшилась бы в разы. На

их лицах появлялось явное сомнение в том, что все может быть хуже, но рисковать они не собирались.

Затем мимо прошла женщина с одинаково одетыми, безупречно воспитанными, без сомнения, нейротипичными⁴ детьми, сидящими в ее тележке. Когда она объезжала моего вышедшего из-под контроля сына, я услышала, как один из детей спросил ее, что с ним не так, и она пробормотала:

– Его просто нужно хорошенько отшлепать, дорогой.

«Конечно, – подумала я. – Его просто нужно отшлепать. Это научит его справляться с сенсорной перегрузкой и научит говорить. Может быть, если я отшлепаю его, он внезапно сможет самостоятельно воспользоваться туалетом, и я откажусь от навязчивой регламентированной процедуры, которую использую, чтобы предотвратить его недержание. Такое простое решение... Почему мне не пришло в голову отшлепать его семь лет назад?» Но как только я начала закипать, она взглянула на меня, и я встретилась с ней взглядом, прежде чем она отвернулась. Я уловила в ее глазах намек на жалость и – не было никакой ошибки – страх. Женщина покраснела, отвела взгляд, и это неторопливое путешествие с детьми в тележке превратилось в настоящий спринт к следующему ряду.

Люди говорят подобные вещи, потому что это заставля-

⁴ Нейротипичный (Neurotypical) – сокращение от «неврологически типичный» (neurologically typical). Обозначение для человека, относительно соответствующего статистической психической норме, то есть без психических расстройств.

ет их чувствовать себя лучше в такой, несомненно, очень неловкой ситуации. Я ее не виню – я ей даже завидую. Я хотела бы быть такой же самоуверенной, но семь лет воспитания Эдисона Майклза не научили меня ничему, кроме смирения. Я делаю все, что в моих силах, обычно этого недостаточно, и так оно и будет.

Управляющий подошел несколько минут назад.

– Мэм, мы должны что-то сделать. Он уже нанес ущерб на сотни долларов, и к тому же ситуация беспокоит других покупателей.

– Я вся внимание, – ответила я, пожимая плечами. – Что вы предлагаете?

– Мы можем вызвать «Скорую помощь»? Это приступ болезни, верно?

– И как вы думаете, что они сделают? Усыпят его?

Его глаза заблестели.

– Они могут это сделать?

Я хмуро взглянула на него, и его лицо снова вытянулось. Некоторое время мы стояли в неловком молчании, затем я вздохнула, словно он убедил меня.

– Вызывайте «Скорую», – произнесла я с понимающей улыбкой, должно быть, немного напугавшей его, потому что он отступил от меня. – Давайте просто посмотрим, как Эдди справится с визитом медиков. Я уверена, что ревущие сирены, униформа и еще больше незнакомцев не слишком ухудшат ситуацию. – Я помолчала, потом невинно посмотрела на

него. – Верно?

Менеджер ушел, бормоча что-то себе под нос, но он, должно быть, дважды подумал, вызывать ли «Скорую», поэтому сирен все еще не слышно. Вместо этого в обоих концах прохода теперь стоят явно смущенные продавцы, вежливо объясняющие покупателям ситуацию и предлагающие выбрать за них любые товары, которые им нужны, чтобы они не ходили рядом с моим шумным, неуклюжим сыном.

Что касается меня, то сейчас я сижу на полу рядом с ним. Я хочу быть стойкой и спокойной, но периодически всхлипываю, потому что независимо от того, сколько раз это происходит, это крайне унижительно. Я перепробовала все что могла, чтобы разрядить ситуацию, и все мои попытки провалились. Все закончится только тогда, когда Эдди устанет.

В общем-то мне следовало подумать, прежде чем рисковать, приводя его сегодня в продуктовый магазин. Я не уверена, что он полностью понимает, что означает этот визит в больницу, но чувствует: что-то не так. Не в первый раз я жалею, что не могу устроить Эдди в школу на полный день вместо двух раз в неделю – расписание, на которое нам пришлось согласиться. Если бы только я могла отвезти его сегодня в школу и приехать сюда одна, или хотя бы убедила своего мужа Уэйда остаться дома и присмотреть за ним...

У Уэйда встреча. У него всегда бывают встречи, особенно когда отсутствие встреч означает, что ему придется остаться наедине с Эдисоном.

– Простите...

Я устало поднимаю глаза, ожидая увидеть еще одного со-трудника, предлагающего «помощь». Однако передо мной стоит пожилая женщина – хрупкая, с добрыми серыми глазами и поразительным голубым оттенком волос. Если отбросить эту голубизну, она очень похожа на мою Бабчу – невысокая и худая, нарочито стильная. У этой женщины в руках яркая сумочка, и она одета с головы до ног во взрывоопасные цветочные принты, вплоть до тканевых туфель «Мэри Джейн», украшенных герберами. Бабча тоже надела бы такие туфли.

Даже сейчас, когда ей далеко за девяносто, Бабча предпочитает одежду с безумными цветами или диковинными кружевами. У меня такое чувство, что если бы эти две женщины встретились, они бы сразу подружились. Я чувствую, как от осознания этого щемит в груди, и меня охватывает нетерпение.

«Поторопись, Эдди. Нам нужно спешить. Бабча больна, и нам необходимо ехать в больницу».

Женщина одаривает меня нежной улыбкой и заговорщи-чески открывает свою сумочку.

– Как вы думаете, что-нибудь из этого может помочь? – Она достает из своей сумки коллекцию маленьких безделушек: красный шарик, синий леденец на палочке, крошечную

деревянную куклу и маленький деревянный дрейдл⁵. Женщина присаживается на корточки рядом со мной, затем высыпает все на пол.

Я уже пыталась отвлечь Эдди, так что знаю – это не срабывает, но доброта во взгляде женщины едва не доводит меня до слез. Когда я смотрю в ее глаза, я вижу сочувствие, понимание и ни намека на жалость. Это прекрасная и, к сожалению, редкая вещь, когда кто-то понимает мою ситуацию, а не осуждает ее.

Я бормочу фальшивые слова благодарности и перевожу взгляд с женщины на Эдисона, пытаюсь понять, не ухудшило ли это ситуацию. Однако теперь он кричит чуть тише и своими опухшими, полными слез глазами настороженно наблюдает за женщиной. Он так любит Бабчу. И, возможно, сейчас тоже видит сходство.

Я киваю в сторону женщины, и она поднимает шарик. Эдди никак не реагирует. Она поднимает куклу, и снова выражение его лица остается напряженным. Затем – леденец, результат тот же. Я уже полностью потеряла надежду, когда она взяла дрейдл, поэтому удивлена, что плач Эдди немного стихает.

На каждой стороне выгравированы красочные еврейские иероглифы, и женщина проводит пальцем по одному из них, затем ставит дрейдл на пол и изящно взмахивает запястьем.

⁵ Четырехгранный волчок, с которым, согласно традиции, дети играют во время еврейского праздника Ханука.

Он начинает вращаться, и цвета гипнотически сливаются в яркое размытое пятно.

– У моего внука тоже расстройство спектра⁶, – тихо говорит она мне. – Я, по крайней мере, имею представление о том, насколько сложна ваша ситуация. Дрейдлы – любимые игрушки Брейдена...

Эдди пристально смотрит на дрейдл, пока тот вращается. Его вопли прекратились. Слышны только тихие, прерывистые рыдания.

– Вы знаете, что это значит на иврите? – тихо спрашивает меня женщина. Я качаю головой, и она негромко произносит: – Это аббревиатура, означает «Чудо великое было там».

Мне хочется сказать этой женщине, что я больше не верю в чудеса, но, похоже, теперь я не слишком уверена в своей правоте, потому что одно из них, кажется, разворачивается прямо передо мной. Эдди теперь почти молчит, если не считать случайного шмыганья носом или эхом отдающегося всхлипа. Вращение дрейдла затухает, пока он не начинает качаться, а затем опрокидывается набок. Я слышу резкий прерывистый вдох.

– Милый мальчик, ты знаешь, что это такое? – тихо спрашивает женщина.

– Он не разговаривает, – вмешиваюсь я, но Эдди выбирает именно этот момент, чтобы порыться в своем мешке со сму-

⁶ Расстройство аутистического спектра – нейроонтогенетическое расстройство, расстройство психического развития.

щающими аутическими трюками, переводит взгляд на меня и хрипло произносит:

– Я люблю тебя, Эдди.

Женщина смотрит на меня, и я пытаюсь объяснить:

– Это просто... Это называется эхолалия... Он может произносить слова, но за ними нет смысла. Он просто повторяет то, что слышал от меня, – он не знает, что это значит. Это его добрый способ сказать «мамочка».

Женщина одаривает меня еще одной нежной улыбкой, ставит дрейдл прямо рядом с Эдди, снова запускает его и ждет. Сын смотрит в безмолвном изумлении, и к тому времени, как дрейдл падает набок во второй раз, он совершенно спокоен. Я нащупываю его айпад, загружаю ААК, затем нажимаю кнопки «закончить» и «машина», прежде чем повернуть экран к Эдди. Он садится, затем с трудом поднимается на ноги и выжидающе смотрит на меня.

– Вот и все, милая, – шепчет женщина. Она наклоняется, поднимает дрейдл и передает его Эдди, приговаривая: – Какой умный мальчик, так замечательно успокоился. Твоя мама, должно быть, очень гордится тобой.

– Спасибо вам! – говорю я незнакомке.

Она кивает, коротко касается моего предплечья и негромко произносит:

– Вы хорошо справляетесь, мамочка. Никогда не забываете об этом.

Поначалу ее слова кажутся банальными. Я вывожу Эдисо-

на из магазина с пустыми руками, если не считать неожиданного сокровища, полученного от незнакомки. Я пристегиваю его к автокреслу, сделанному по специальному заказу, что необходимо, несмотря на его размеры, потому что с одним только ремнем безопасности он не будет сидеть достаточно спокойно. Я сажусь на свое место и смотрю на него в зеркало заднего вида. Он, спокойный и неподвижный, изучает дрейдл, и он, как всегда, за миллион миль отсюда, а я устала. Я всегда устаю.

«Вы хорошо справляетесь, мамочка. Никогда не забываете об этом».

Я редко плачу из-за Эдди. Я люблю его. Я забочусь о нем. Я никогда не позволяю себе жалеть себя. Я как алкоголик, который не пьет ни капли. Я знаю, что как только я открою шлюзы для жалости к себе, я почувствую вкус к этому, и это уничтожит меня.

Но сегодня моя бабушка в больнице, а добрая женщина в туфлях с герберами показалась ангелом, посетившим меня в трудную минуту, как если бы ее прислала Бабча. И что, если это последний подарок моей бабушки, потому что она вот-вот ускользнет?

Теперь моя очередь сорваться. Эдди играет со своим дрейдлом, держа его прямо перед лицом и очень медленно вращая в воздухе, будто пытается понять, как он работает. Я всхлипываю. Я даю себе восемь роскошных минут слез, потому что через восемь минут будет 10:00 утра, и мы выби-

лись из задуманного графика на целый час.

Часы в машине продолжают отсчитывать время, и я решаю перестать раскисать – и я это делаю: просто беру и выключаю жалость. Я вытираю нос бумажной салфеткой, протираю горло и завожу машину. Как только я включаю зажигание, мой телефон подключается к машине, и на сенсорном экране у рулевого колеса появляются пропущенные сообщения от моей мамы.

«Где ты?»

«Ты обещала быть к 9:00. Ты все еще едешь?»

«Элис, позвони мне, пожалуйста, что происходит?»

«Бабча очнулась, но поторопись, потому что я не знаю, как долго она будет в сознании».

И последнее от Уэйда:

«Прости, что не смог сегодня взять выходной. Ты не сердись?»

А мы еще даже не добрались до больницы. Это будет долгий день.

Глава 2

Алина

Томаш Сласки был полон решимости стать врачом, как и его отец, но я всегда считала – он рожден рассказывать истории. После того, как он рассказал мне тщательно продуманную историю о спасении из озера принцессы-русалки, пока весь наш город спал, я решила, что однажды выйду за него замуж. Мне было девять, а Томашу двенадцать, но мы уже были хорошими друзьями, и в тот день я решила, что он мой. Спустя несколько лет он тоже стал воспринимать меня как свою, и к тому времени, когда я закончила седьмой класс и моя семья больше не могла позволить себе отправлять меня в школу, у Томаша появилась устоявшаяся привычка навещать меня дома.

Как и большинство знакомых мне детей, я бросила школу и пошла работать в поле вместе с родителями – хотя в отличие от большинства таких детей я никогда не делала по-настоящему тяжелой работы. Я была самым младшим ребенком, и даже когда наступил и прошел переходный возраст, я осталась тонкокостной и всего лишь пяти футов ростом. Все остальные в моей семье были высокими и сильными, и, несмотря на то что мои братья-близнецы были всего на четырнадцать месяцев старше меня, моя семья никогда по-на-

стоящему не переставала относиться ко мне как к ребенку. Я не слишком возражала против этого, пока это означало, что близнецы выполняли всю тяжелую работу на ферме.

Томаш был из более богатой семьи и давно собирался поступить в университет, поэтому он оставался в средней школе гораздо дольше, чем большинство в нашем районе на юге Польши. Даже когда наши пути разошлись, он регулярно поднимался на холм между нашими домами, чтобы встретиться со мной, и каждый раз, когда он приезжал, он очаровывал всю мою семью эпатажными историями, произошедшими с ним на неделе.

Даже в детстве и подростковом возрасте у Томаша была манера говорить, заставляющая верить, что все возможно. Именно это его качество понравилось мне в первую очередь – он открыл мне мир бесконечных возможностей и при этом наполнил его магией. Если бы не Томаш, я бы никогда даже не задумалась о существовании жизни за пределами нашей деревни, но как только мы полюбили друг друга, исследование этой жизни в его компании стало почти всем, о чем я могла думать.

Я так хотела, чтобы мы поженились до того, как он отправится учиться на врача! Тогда бы у меня имелась возможность уехать с ним в город. В большей степени потому, что я не могла вынести мысли о расставании, и, конечно, мне не терпелось покинуть семейную ферму. Мой дом находился сразу за окраиной небольшого городка Тшебиня, где отец

Томаша Алексей работал врачом, а его мать Юлита – школьной учительницей, пока не умерла при родах, когда на свет появилась его сестра Эмилия. Я была уверена, что моя настоящая жизнь находится за пределами того маленького мира, в котором мы существовали, но не было никакого способа сбежать, кроме замужества, для которого я была еще слишком молода – в то время мне исполнилось только пятнадцать. Лучшее, на что я могла надеяться: однажды Томаш вернется за мной.

Были выходные – последние перед тем, как Томаш должен был уехать, поздней весной 1938 года. Время имеет свойство размывать наши воспоминания, но некоторые из них слишком чисты даже для разрушительных последствий минувших лет. И события того воскресенья так же свежи в моей памяти сейчас, как и на утро следующего дня. Возможно, это просто побочный эффект того, что я годами хранила их очень близко к сердцу, прокручивая в голове снова и снова, будто любимый фильм. Даже сейчас, когда я порой с трудом понимаю, где нахожусь или какое сегодня число, я уверена, что все еще помню мельчайшие подробности того дня – каждое мгновение, каждое прикосновение, каждый запах и каждый звук. Весь день тяжелые серые тучи низко висели в небе. Почти неделю лил непрекращающийся дождь, так что мои сапоги были сильно заляпаны то ли навозом, то ли грязью. Все это время погода казалась унылой, но к вечеру воскресенья подул жестокий ветер, и она стала по-настоящему су-

ровой.

Пока я болтала с Томашем, мои братья Филип и Станислав работали на холоде, поэтому родители настояли, чтобы перед ужином уходом за животными занялась я. Я отчаянно сопротивлялась, пока Томаш не взял меня за руку и не потащил за собой.

– Ты такая избалованная. – Он негромко рассмеялся.

– А ты говоришь, как мои родители, – пробормотала я.

– Ну, может быть, это и правда. – Он оглянулся на меня, не ослабевав хватки, но обожание в его взгляде было неоспоримым. – Не волнуйся, избалованная Алина. Я все равно люблю тебя.

При этих словах я ощутила такой прилив гордости и удовольствия, что все остальное перестало иметь значение.

– Я тоже тебя люблю, – проговорила я, и он потянул меня чуть резче и быстрее, так что я почти врезалась в него, а он в самую последнюю секунду коварно поцеловал меня.

– Ты храбрец, раз осмелился на это, когда мой отец так близко. – Я усмехнулась.

– Возможно, я храбрец, – ответил он. – Или, возможно, любовь сделала меня глупцом. – При этих словах он бросил слегка встревоженный взгляд в сторону дома, просто чтобы убедиться, что мой отец нас не видит, и когда я расхохоталась, снова поцеловал меня.

– Хватит веселья и игр, – сказал он. – Давай покончим с этой работой.

Мы справились довольно быстро, пора было идти в дом, чтобы укрыться от ужасной погоды. Я двинулась напрямик к входной двери, но Томаш поймал меня за локоть и беспечно произнес:

– Давай поднимемся на холм.

– Что?! – выдохнула я, мои зубы стучали от холода. Он между тем улыбался, и я хмыкнула. – Томаш! Может быть, я слегка избалована, но ты определенно сумасшедший.

– Алина, *moje wszystko*, – проговорил он, и это меня зацепило – всегда цепляло, потому что это ласковое обращение означало «мое все», и каждый раз, когда он так меня называл, у меня слабели колени. Взгляд Томаша стал очень серьезным, когда он произнес: – Это наш последний вечер перед разлукой, и я хочу побыть наедине с тобой, прежде чем мы сядем ужинать с твоими родителями. Пожалуйста!

Холм представлял собой поросшую деревьями вершину. Это был самый конец длинной, тонкой полоски густого леса, оставленной нетронутой просто потому, что земля здесь была такой каменистой, а вершина такой крутой, что использовать ее в сельском хозяйстве не представлялось возможным. Этот холм защищал мой дом и земли нашей фермы и служил барьером между нашим спокойным существованием и городской жизнью в Тшебине. От вершины до здания, в котором размещались семья Томаша и медицинская практика его отца, было пятнадцать минут быстрой ходьбы, а иногда (когда он не должен был быть там со мной) – восемь минут

бега.

Сколько себя помню, холм всегда был нашим местом – местом, где мы могли наслаждаться окружающим видом и обществом друг друга. Это было место, где мы могли уединиться, прячась в укромных уголках поляны между деревьями. Сидя на самой вершине, рядом с длинным плоским валуном, мы могли своевременно обнаружить кого угодно из представителей нашей семьи, ищущего нас, особенно младшую сестру Томаша, Эмилию, которая как по наитию появлялась всякий раз, когда наша страсть могла выйти из-под контроля.

В тот вечер, пока мы поднимались по склону и достигли вершины, скудный дневной свет исчез, и внизу замерцали тусклые огни домов Тшебини. Когда мы устроились на валуне, Томаш обнял меня и крепко прижал к груди. Он дрожал, и поначалу я решила, что это от холода.

– Это глупо. – Я негромко рассмеялась, поворачивая к нему голову. – Мы тут можем простудиться насмерть, Томаш.

Его руки сжались вокруг меня, совсем чуть-чуть, он глубоко вздохнул и заговорил:

– Алина, твой отец дал нам разрешение и свое благословение на свадьбу, но нам нужно подождать несколько лет... к тому времени я уже заработаю немного денег, чтобы обеспечить тебя. У нас будет время подумать о деталях позже... Просто знай, что, о каких бы местах ты ни мечтала, я найду

способ отвезти тебя туда, Алина Дзяк. Мы сможем жить хорошо... – Его голос прервался, и он прочистил горло, прежде чем прошептать: – Я подарю тебе хорошую жизнь.

Я была удивлена и обрадована этим предложением, но на какое-то мгновение почувствовала себя неуверенно, поэтому немного отстранилась от него и осторожно спросила:

– Но откуда ты знаешь, что все равно захочешь быть со мной, после того как познакомишься с жизнью в большом городе?

Он слегка подвинулся, так, чтобы мы могли смотреть друг на друга, и обхватил мое лицо ладонями.

– Все, что я знаю, и все, что мне нужно знать, это то, что всякий раз, когда мы расстаемся, я отчаянно скучаю по тебе, и уверен, что ты чувствуешь то же самое. Это никогда не изменится – неважно, что произойдет во время учебы в университете. Мы с тобой созданы друг для друга, так что приедешь ли ты ко мне или я вернусь домой, чтобы остаться с тобой, – неважно, мы всегда найдем путь друг к другу. Сейчас всего лишь небольшой перерыв, но ты увидишь. Время, проведенное порознь, ничего не поменяет.

Томаш, как обычно, сочинил одну из своих удивительных историй – только на сей раз это была история нашей будущей жизни и обещание, что мы, несмотря ни на что, будем вместе.

Я видела все в своем воображении, словно это уже произошло. В тот момент я знала, что мы поженимся, у нас бу-

дут дети и мы состаримся вместе. Я была потрясена любовью, которую испытывала к Томашу, и то, что я могла видеть такую же отчаянную любовь, отражавшуюся в его глазах, казалось чудом.

Я была самой счастливой девушкой в Польше, самой счастливой девушкой на Земле! Я встретила замечательно-го мужчину, и он ответил мне такой же глубокой любовью, как моя. Он был умен, добр, красив, а еще у Томаша Сласки были самые удивительные глаза на свете. Они были поразительного оттенка зеленого, и они всегда слегка искрились, как будто он про себя наслаждался озорной тайной. Я притянула его ближе и уткнулась лицом ему в шею.

– Томаш, – прошептала я сквозь слезы счастья. – Я всегда собиралась ждать тебя. Даже до того, как ты попросил меня об этом.

* * *

На следующее утро отец повез меня в город, чтобы попрощаться с Томашем перед его отъездом в Варшаву. Теперь мы были помолвлены, и это была веха в нашей жизни, которую взрослые уважали, поэтому мы впервые обнялись на глазах у наших отцов. Алексей нес чемодан сына, а Томаш крепко держал свой билет на поезд. Эмилия, несмотря на громкие рыдания, в одном из своих красивых цветастых платьев выглядела как картинка. Я суежилась вокруг Томаша на плат-

форме, теребя лацкан его пальто и поправляя спадающие густые песочные волосы.

– Я напишу тебе, – пообещал мне Томаш. – И буду приезжать домой так часто, как смогу.

– Знаю, – ответила я.

Выражение его лица было мрачным, но глаза сухими, и в тот день я тоже была полна решимости быть мужественной, пока он не скроется из виду. Он поцеловал меня в щеку, пожал руку моему отцу. Попрощавшись со своим отцом и сестрой, Томаш взял чемодан и вошел в вагон. Когда он высунулся из окна, чтобы помахать нам, его взгляд был прикован к моему. Я заставила себя улыбаться, пока поезд не утащил его из вида. Алексей коротко обнял меня и хрипло проговорил:

– Однажды ты станешь мне прекрасной дочерью, Алина.

– Нет, папа, из нее получится прекрасная сестра! – запротестовала Эмилия. Она напоследок судорожно всхлипнула и драматично шмыгнула носом, а потом взяла меня за руку и, можно сказать, вырвала из объятий Алексея. У меня не было большого опыта общения с детьми, но слабость, которую я питала к Эмилии, в тот момент возросла в геометрической прогрессии, стоило ей посмотреть на меня своими блестящими зелеными глазами. Я поцеловала ее в макушку, притянула к себе.

– Не переживай, малышка. Я буду твоей сестрой даже сейчас, пока мы ждем возвращения Томаша.

– Я знаю, что он не хотел расставаться с тобой, Алина, и знаю, что тебе тоже тяжело, – пробормотал Алексей. – Но Томаш мечтал быть врачом еще до того, как научился читать... нам пришлось его отпустить. – Он помолчал, откашлялся и спросил: – Ты будешь навещать нас, пока Томаша не будет, правда?

– Конечно, буду! – пообещала я. Во взгляде Алексея была затаенная печаль, и они с Томашем были так похожи – те же зеленые глаза, те же песочные волосы, даже телосложение одинаковое. Видеть Алексея грустным было все равно что видеть грустным Томаша в далеком будущем, и мне была ненавистна сама мысль об этом, поэтому я еще раз нежно обняла его. – Вы уже моя семья, Алексей, – проговорила я. Он улыбнулся, глядя на меня сверху вниз, как раз в тот момент, когда Эмилия многозначительно прочистила горло. – И ты тоже, малышка Эмилия. Я обещаю, что буду навещать вас при любой возможности, пока Томаш к нам не вернется.

Мой отец был серьезен на обратном пути на ферму, а мама в тот вечер в своем обычном стоическом стиле беспокоилась из-за моей хандры. Когда я рано легла спать, она появилась в дверном проеме между моей комнатой и гостиной.

– Я буду стойкой, мама, – солгала я, вытирая глаза, чтобы избежать ее упреков за мои слезы. Поколебавшись, она вошла в комнату и протянула мне руку. В ее мозолистой ладони было надежно спрятано обручальное кольцо, простое, но толстое золотое кольцо, которое она носила столько, сколько

я себя помнила.

– Когда придет время, мы сыграем свадьбу в городской церкви, и Томаш сможет надеть это кольцо тебе на палец. Мы не так уж много можем дать тебе, но это кольцо принадлежало моей матери, и мы с отцом прожили в браке двадцать девять лет. Хорошие времена, плохие времена – кольцо словно охраняло нас, давая силы держаться. Я передаю его тебе, чтобы оно в будущем принесло удачу и вам, но я хочу, чтобы ты хранила его у себя уже сейчас, чтобы, пока ты ждешь, оно напоминало тебе о жизни, которая ждет тебя впереди.

Закончив свою речь, она развернулась на каблуках и закрыла за собой дверь, будто знала, что я еще немного поплачу, и не могла этого вынести. Я спрятала кольцо в ящике с одеждой, под стопкой шерстяных носков. Каждый вечер перед сном я брала это маленькое колечко в руку и подходила к окну.

Я смотрела на холм, который стал свидетелем стольких прекрасных моментов с Томашем, и крепко прижимала это кольцо к груди, молясь Матери Марии, чтобы Томаш был в безопасности, пока он не вернется ко мне.

Глава 3

Элис

Когда мы входим в гериатрическое отделение, Эдди замечает Бабчу, немедленно вырывает руку из моей крепкой хватки и бежит в ее комнату.

– Эдди! – кричит он на бегу. – Эдди, дорогой, ты хочешь что-нибудь поесть?

Иногда эхोलалия – проклятие моего существования. Бабча постоянно предлагает Эдисону – и всем остальным – еду, и поэтому теперь, когда он видит Бабчу, он подражает ей. Это безобидно, когда мы одни. Когда мы на публике и он говорит с этим поддельным польским акцентом, это звучит так, как будто он насмехается над ней. Медсестра, проверяющая капельницу Бабчи, хмуро смотрит на него, и я хочу объяснить ей, что происходит, но я слишком поражена видом самой Бабчи. Она приподнялась, и ее глаза открыты. Это большое улучшение по сравнению с полубессознательным состоянием, в котором она была прошлой ночью, пусть даже она явно все еще очень слаба и тяжело опускается на подушки.

– Привет, Эдисон! – Я слышу, как мама вздыхает, когда догоняю Эдди уже в палате.

Сын смотрит на маму, бормочет себе под нос: «Прекрати это делать, Эдди!»

Мама молчит, но ее неодобрение ощутимо, как всегда, когда Эхोलалия Эдди напоминает нам всем, что фраза, которую он больше всего ассоциирует с ней, является ругательной. Потом она переводит взгляд на меня и выговаривает:

– Элис, ты невероятно опоздала!

Я не чувствую угрызений совести, игнорируя ее приветствие, учитывая, что оно в равной степени состоит из социальной вежливости и критики. И это является точным соотношением в любой попытке общения, предпринятой моей матерью. Юлита Сласки-Дэвис сочетает в себе массу достоинств: пожизненный марафонец, уважаемый судья окружного суда, воинствующий борец за гражданские свободы, заядлый защитник окружающей среды; семидесятишестилетняя женщина, которая не собирается в ближайшее время уходить с работы. Люди постоянно говорят мне, что она вдохновляет, и я понимаю их точку зрения, потому что она впечатляющая женщина. Единственное, кем она не является, так это милой бабушкой по материнской линии, и именно поэтому нам с Эдди гораздо легче общаться с Бабчей.

Я занимаю место рядом с Эдди у кровати своей бабушки и беру ее руку. Обветренная кожа ее пальцев холодна, поэтому я накрываю ее другой ладонью и пытаюсь немного согреть.

– Бабча, – бормочу я. – Как ты себя чувствуешь?

Бабча издает звук, который ближе к ворчанию, чем к членораздельной речи, и в ее глазах отражается страдание, когда она натывается на мой пристальный взгляд. Мама нетер-

пеливо вздыхает.

– Если бы ты приехала раньше, то уже знала бы, что, хотя она очнулась, не похоже, что она слышит. Эти медсестры ничего не знают. Я жду, когда доктор скажет мне, что, черт возьми, происходит.

Медсестра, стоявшая рядом, поднимает брови, но не удостоивает взглядом ни маму, ни даже меня. Посмотри она на меня, я бы виновато поморщилась, но медсестра явно полна решимости выполнить свою работу и выйти из палаты как можно быстрее. Она нажимает последнюю кнопку на регуляторе капельницы, касается руки моей бабушки, чтобы привлечь ее внимание. Бабча поворачивает к ней лицо.

– Ну, вот, Ханна, – мягко говорит медсестра. – Теперь я оставлю тебя с твоей семьей. Просто позвони, если я тебе понадобится, хорошо?

Эдди отпихивает меня, как только медсестра уходит, и неуклюже пытается взять Бабчу за руку. Когда я позволяю ему это, он сразу же успокаивается. Я смотрю на Бабчу и вижу, как она ему улыбается. Я всегда считала, что мои отношения с бабушкой уникальны. Она практически воспитывала меня на разных этапах моего детства; для моей матери карьера всегда была на первом месте. Но какими бы особенными они ни были, наши отношения не являются звеном в той цепи, которая связывает ее с Эдди. В мире, который не понимает моего сына, у него всегда была Бабча, которой все равно, понимает она его или нет – она просто обожает его

таким, какой он есть.

Теперь я внимательно, оценивающе разглядываю ее, как будто могу просканировать ее взглядом и осознать степень повреждения ее разума.

– Ты слышишь меня, Бабча? – спрашиваю я, и она поворачивается ко мне, но яростно хмурится, сосредоточиваясь. Ее единственная реакция – это слезы, которые подступают к ее глазам. Я бросаю взгляд на маму, которая стоит неподвижно, крепко сжав челюсти.

– Мне кажется, она слышит, – говорю я маме, которая колеблется, а затем предлагает новую версию:

– Ну, тогда... возможно, она нас не узнает?

– Эдди, – говорит Эдди. – Эдди, дорогой, ты хочешь что-нибудь поесть?

Бабча поворачивается к нему и улыбается усталой, но прекрасной улыбкой, которая сразу же вызывает соответствующую улыбку у моего сына. Он отпускает руку Бабчи, бросает свой *айпад* на кровать рядом с ее ногами и пытается взобраться на постель.

– Эдди, – раздраженно говорит мама. – Не делай этого. Бабча нездорова. Элис, ты должна остановить его. Здесь не детская площадка.

Но Бабча старается принять сидячее положение и широко раскрывает руки навстречу Эдди, и, глядя на это, замолкает даже мама. Я фиксирую спинку кровати и помогаю убрать с дороги различные шнуры, пока мой очень крепкий сын за-

бирается к своей очень хрупкой прабабушке. Бабча медленно и осторожно отодвигается, целенаправленно освобождая ему место рядом с собой. Он прижимается к ней и закрывает глаза, а когда она снова опускается на подушку, то прижимается щекой к светлым волосам Эдди. Затем Бабча тоже закрывает глаза и вдыхает его запах, как будто он новорожденный ребенок.

– Мне кажется, она определенно узнает Эдди, – тихо говорю я.

Мама нетерпеливо вздыхает и проводит рукой по жестким прядям своих аккуратных седых волос. Я сажусь на стул рядом с кроватью и лезу в сумку за телефоном. На экране появляется еще одно сообщение от Уэйда.

«Элли, мне действительно очень жаль. Пожалуйста, напиши мне и дай знать, что с тобой все в порядке».

Я знаю, что поступаю несправедливо, но я все еще разочарована из-за того, что он сегодня не помог мне. Я хмурюсь и думаю о том, чтобы выключить телефон, но в последнюю секунду смягчаюсь и отвечаю:

«У меня был очень плохой день, но я в порядке».

* * *

Прошло много времени, прежде чем к нам подошла женщина средних лет в медицинском халате, которая жестом

пригласила нас присоединиться к ней за столом медсестер. Эдди снова держит дрейдл перед своим лицом и совсем не реагирует на меня, когда я отворачиваюсь от кровати, поэтому я оставляю его в покое.

– Я доктор Чанг, врач Ханна. Я хотела рассказать вам о ее состоянии.

Сегодня состояние Бабчи стабильно, но врачи считают, что инсульт поразил в ее мозге языковые центры. Она, конечно, может слышать, но она не реагирует на вопросы или инструкции, и необходимо провести дальнейшее тестирование. Позади нас я слышу айпад Эдди, когда роботизированный голос приложения ААК объявляет: дрейдл.

Я не обращаю особого внимания на Эдди, только настолько, чтобы слегка удивиться, как ему удалось выяснить, как называется его новое сокровище. В его приложении для визуального языка перечислены тысячи изображений, которые он может использовать для определения понятий, которые ему могут понадобиться для общения, но дрейдл вряд ли будет в разделе «наиболее часто используемые». Пару секунд я наслаждаюсь моментом, ощущая гордость среди паники, вызванной, казалось бы, бесконечными плохими новостями от доктора Чанг. Может быть навсегда, требуется дополнительное тестирование, сканирование, эта ситуация не совсем необычна, к сожалению, высока вероятность дальнейших ухудшений. Планы на конец жизни?

«Мне нравится дрейдл, – *говорит айпад Эдди.* – Твоя

очередь».

Я вздрагиваю и поворачиваюсь, чтобы взглянуть на кровать, где Эдди повернул айпад к моей бабушке. Сейчас он сидит, прислонившись спиной к спинке кровати. Я не знаю, что я ожидаю увидеть, но я удивлена, когда Бабча медленно поднимает руку и стучит по экрану.

«Мне... нравится...»

Я прерываю доктора, хватая ее за предплечье, она вздрагивает и отшатывается от меня.

– Извините, – выдыхаю я. – Просто... посмотрите...

Доктор и мама поворачиваются как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бабча нажимает следующую кнопку. Мама резко втягивает воздух.

«...дрейдл... тоже».

Бабча нажимает на кнопки медленно и с очевидным трудом, но в конце концов она выражает себя просто отлично.

«Бабче больно?» – спрашивает теперь Эдди.

«Бабча боится», – печатает бабушка.

«Эдди боится», – печатает сын.

«Эдди... в порядке. – Бабушка водит пальцем. – Бабча... в порядке».

Эдди кивает и сползает обратно на кровать, чтобы снова положить голову на плечо Бабчи.

– Он аутист? – спрашивает доктор.

– Да, он в аутическом спектре, – поправляю я ее. Терми-

нология на самом деле не имеет особого значения, но для меня это важно, потому что мой сын – больше чем ярлык. Сказать, что он аутист, неверно: аутизм – это не то, кто он есть, это часть того, кто он есть. Это пустые слова для того, кто не живет рядом с этим расстройством каждый день, и доктор смотрит на меня безучастно, будто она даже не понимает различия. Я чувствую, как горят щеки. – Он невербален. Он использует аугментативное альтернативное коммуникационное приложение, чтобы общаться. Бабушка уже привыкла говорить с ним таким образом, хотя обычно она делает это гораздо быстрее.

– Это из-за проблемы с ее рукой, – перебивает меня мама и снова смотрит на доктора. – Я же сказала вам, что у нее нарушена двигательная функция правой стороны.

– Я помню, и мы занимаемся этим вопросом, – говорит врач и, помолчав, признается: – Мы не склонны использовать технологии с пожилыми пациентами в подобных ситуациях, большинство из них понятия не имеют, как к ним поступить. Так что как бы это ни было сложно, по крайней мере, у вашей мамы есть преимущество благодаря тому, что она знакома с этим устройством. Я поговорю с логопедом. Это хорошо.

– Нет, не хорошо, – снова раздражается мама. – Не хорошо, что моей матери приходится говорить через чертово приложение для айпада! Достаточно того, что нам приходится использовать эту отвратительную штуку для Эдди. Как

долго это будет продолжаться? Как вы собираетесь это исправить?

– Юлита, в этих...

– Судья Сласки-Дэвис! – поправляет врача моя мама, а я вздыхаю и поворачиваюсь к кровати. Бабча ловит мой взгляд и кивает в сторону айпада, поэтому я спокойно оставляю доктора разбираться с матерью. Бабча нажимает кнопку «Твоя очередь», и я забираю у нее гаджет.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваю я. Бабушка берет айпад и листает экраны, пока не находит нужные изображения. Затем отвечает, медленно и осторожно:

«Бабча в порядке. Нужна помощь».

Она сразу же протягивает мне айпад, явно желая увидеть мой ответ, но я понятия не имею, что ей сказать или даже как попросить у нее дополнительную информацию о том, что ей нужно. Я перевожу взгляд с экрана айпада на ее лицо и ловлю нетерпение в ее голубых глазах. Она жестом просит меня снова передать ей гаджет, что я и делаю, и она начинает листать экран за экраном. Она находит значок лупы, нажимает на него, и айпад говорит «Найти», но затем она возвращается к прокрутке. Ее взгляд сужается. Ее губы сжимаются. Капли пота выступают на ее морщинистом лбу, и проходит еще больше времени, пока на ее щеках постепенно появляется румянец. Она нажимает кнопку «Найти» снова и снова, а затем рычит и толкает айпад ко мне. Ее разочарование ощутимо, но я не знаю, что делать. Мама и доктор все

еще спорят, а Эдди, свернувшись калачиком рядом с Бабчей, катает дрейдл по простыне, будто это игрушечный поезд. Я беспомощно смотрю на бабушку, и она поднимает руки, как бы говоря, что тоже не знает. Тогда я начинаю водить пальцем по экранам наиболее часто используемых значков Эдди, каждый раз останавливаясь, чтобы она могла проверить, есть ли там то, что ей нужно. Примерно через минуту после этого меня посещает новая мысль. Я открываю приложение на странице с новым значком, и как только я это делаю, Бабча нетерпеливо выхватывает устройство обратно. Она находит фотографию молодого человека, затем начинает печатать, медленно и тщательно, не указательным пальцем, а безымянным и мизинцем. Это неудобно, и ей требуется несколько попыток, чтобы правильно сформулировать слово, но ей удается, она нажимает кнопку «Сохранить» и с гордостью показывает мне.

«Томаш».

– Как она? – спрашивает меня мама с порога. Я смотрю на нее снизу вверх и обнаруживаю, что доктор ушел, возможно, за крепким напитком.

– Это медленно, но она использует устройство. Она только что попросила меня...

До меня доходит, о чем на самом деле спрашивает Бабча, и мое сердце замирает.

– О нет, Бабча, – шепчу я, но слова бессмысленны. Если

инсульт повредил ее рецептивные навыки⁷, то она во многом в той же лодке, что и Эдди; произнесенные слова сейчас не имеют для нее никакого значения. Я снова встречаюсь с ней взглядом, и в ее глазах блестят слезы. Я растерянно перевожу взгляд с нее на экран, но совершенно не представляю, как сказать ей, что ее муж умер чуть больше года назад. Па до семидесяти лет был блестящим детским хирургом, до восьмидесяти преподавал в Университете Флориды, но как только он вышел на пенсию, слабоумие овладело им, и после долгого, жалкого упадка он умер в прошлом году.

– Бабча... он... он... гм...

Она яростно качает головой и снова нажимает на кнопки.

«Найти Томаш».

Снова прокручивает экран.

«Нужна помощь».

«Чрезвычайная ситуация».

«Найти Томаш».

Затем, пока я все еще пытаюсь понять, как с этим справиться, она выбирает другую серию значков, и устройство считывает мне бессмысленное сообщение:

«Бабча огонь Томаш».

У нее дрожат руки. Ее лицо сурово нахмурено, но в ее взгляде решимость. Я нежно кладу руку ей на предплечье,

⁷ Рецептивные навыки служат для узнавания и правильного понимания лексических явлений на слух и при чтении.

и когда она поднимает на меня глаза, я медленно качаю головой, но в ее глазах отражаются только смятение и разочарование.

Я тоже смущена и расстроена – и внезапно злюсь, потому что жестоко, несправедливо видеть эту гордую женщину такой растерянной.

– Бабча... – шепчу я, и она нетерпеливо вздыхает и стряхивает мою руку со своей. Моя бабушка обладает безграничной глубиной сочувствия, и она беззаветно любит – но она самая сильная женщина, которую я знаю, и ее, кажется, совершенно не смущает моя неспособность общаться с ней. Она возвращается к прокрутке страниц с иконками на экране айпада, пока ее лицо не проясняется. Снова и снова она повторяет этот процесс, старательно формируя предложение. В течение следующих нескольких минут мама идет за кофе, и я наблюдаю, как Бабча пытается освоить этот неуклюжий способ общения. Теперь ей легче, когда все значки находятся на вкладке «Недавно использованные», и вскоре она просто нажимает одни и те же кнопки снова и снова.

«Нужна помощь. Найти... коробка... идти домой.
Хочу домой».

Я подавляю вздох, беру гаджет и объясняю ей, что «Бабча сейчас в больнице. Поэтому пойдем домой позже».

Это языковой шаблон, который я должна использовать со своим сыном, и я делаю это автоматически: сначала это, потом что-то еще, тем самым объясняя ему последователь-

ность событий и время, потому что он не имеет об этом понятия без указаний, инструкций и расписаний. Общение через ААК чертовски ограничено! С Эдди я привыкла к ограничениям, потому что это все, что у нас когда-либо было, и это намного лучше, чем ничего. Пока он не научился читать и пользоваться ААК, вся наша жизнь была серией срывов, вызванных непреодолимым разочарованием из-за того, что он замкнулся в себе и не в состоянии общаться.

Проблема сейчас в том, что с Бабчой я привыкла к бесконечной свободе устного общения, и необходимость прибегать к приложению ААК внезапно кажется невероятно плохой заменой.

Бабча выхватывает айпад обратно и возобновляет свои требования.

«Нужна помощь».

«Найти Томаш».

«Дом».

«Коробка».

«Сейчас».

«Помощь».

«Коробка».

«Фотоаппарат».

«Бумага».

«Бабча огонь Томаш».

Мама пересекает палату и протягивает мне кофе, затем возвращается и встает в ногах кровати.

– В чем дело? – спрашивает она.

– Я не знаю, – признаюсь я. Бабча бросает на нас обеих нетерпеливый взгляд и повторяет команды, а когда мы все еще не реагируем, она включает звук до упора и нажимает кнопку повтора. Этому трюку она научилась у моего сына, который делает то же самое, когда пытается добиться своего.

«Найти Томаш».

«Коробка».

«Фотоаппарат. Бумага. Коробка».

«Сейчас, сейчас. Чрезвычайная ситуация. Сейчас».

«Найти Томаш. Сейчас».

«Бабча огонь Томаш».

– Господи! Она действительно забыла, что Па умер, – шепчет мама, и я смотрю на нее. Маму сложно назвать ранимой, но сейчас ее лицо напряжено, и мне кажется, что я вижу слезы в ее глазах. Я медленно качаю головой. Бабча, похоже, твердо решила, что ей не требуется, чтобы я напоминала ей о смерти Па. Так что не думаю, что мама права.

«Найти Томаш».

«Найти коробка».

«Коробка. Найти. Сейчас. Нужна помощь».

– О! – внезапно ахает мама. – У нее была коробка с сувенирами. Я не видела ее много лет – с тех пор, как мы перевезли их в дом престарелых, после того как Па заболел. Она либо на складе, либо у нее там. Может быть, это то, чего она хочет, может быть, она хочет фотографию Па? В этом есть

смысл, не так ли?

– Ну да, – соглашаюсь я. Волна облегчения расслабляет мышцы, о напряжении которых я даже не подозревала. – Хорошая мысль, мам.

– Я могу поехать и попытаться найти коробку, если ты останешься с ней?

– Да, конечно, – говорю я и беру айпад. Я нажимаю на фотографию мамы, и на айпаде появляется надпись «Нэнни», поэтому я вздрагиваю и начинаю редактировать метку на фотографии, но Бабча нетерпеливо отмахивается от моей руки. Наши взгляды встречаются, и она криво улыбается мне, будто говорит: «Малыш, я больна, но не глупа». Я испытываю такое облегчение от этой улыбки, что наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в лоб, а затем нажимаю еще несколько кнопок.

«Нэнни ищет коробку сейчас».

Бабча удовлетворенно вздыхает и нажимает кнопку «Да», затем кладет руку мне на предплечье и сжимает. В данный момент она не может говорить, но она всю мою жизнь была моей путеводной звездой, так что я все равно слышу ее голос в своей голове.

«Хорошая девочка, Элис. Спасибо».

Глава 4

Алина

В те дни получать информацию было не слишком просто, поэтому до меня доходили только обрывочные сведения о подготовке к войне. Тшебиня находилась довольно близко к границе с Германией, и мой город оказался не застрахован от идеологии, набиравшей силу в соседней стране. Ненависть, подобно какому-то потустороннему зверю, проявлялась в локальных актах насилия и притеснения, направленных против еврейских граждан, и набирала силу по мере того, как жаждущие власти подпитывали ее риторикой и пропагандой.

Только сейчас, оглядываясь назад с мудростью возраста, я вижу, что предупреждающие знаки были разбросаны по всей нашей простой жизни уже тогда. Я помню, как впервые услышала, что еврейские друзья в Тшебине были ограблены, подверглись нападению или их имущество было разгромлено. Мои родители были потрясены таким ходом событий, и к тому времени мой отец ясно и откровенно дал нам, детям, понять свое мнение об отношениях между еврейской и католической общинами Тшебини. «Поляк – это поляк», – часто говорил он, потому что для моего отца традиции и религия человека не имели значения, его интересовали только харак-

тер и трудовая этика. Но это была не та точка зрения, которую разделяло все наше сообщество, и уродливые проявления антисемитизма приводили в ярость моего в целом мягкого отца.

Летом 1939 года мы с отцом отправились в город. Мама испекла для Алексея и Эмилии буханку хлеба с маком, и я положила ее в корзинку, где уже лежали яйца. Это стало обычной частью моего распорядка дня – я отправлялась к ним на обед раз в неделю, и мама всегда передавала для них немного еды. Мне это казалось странным, учитывая, что Алексей был богат, а мы бедны, но моя мама следовала традициям, и она не представляла, что мужчина способен организовать еду для себя и своей дочери.

В тот день мы с отцом поехали на повозке в город, в магазин товаров для дома. Он зашел внутрь, чтобы заняться своими делами, а я прошла три квартала до медицинской клиники, чтобы передать корзину с гостинцами помощнице Алексея. Я знала, что отец ненадолго задержится, поэтому сразу побрела обратно в магазин.

Я шла и мечтала о Томаше. За тот год, что он прожил в Варшаве, у нас вошло в привычку писать друг другу письма, а во время своих каникул в середине года он провел дома две восхитительные недели. В тот день была моя очередь писать ответ, я размышляла о том, что ему рассказать, и была настолько погружена в свои мысли, что, подойдя к магазину и услышав, как кричит мой отец, страшно испугалась. Я обес-

покоенно заглянула в дверь и обнаружила, что он ведет горячую дискуссию с Яном Голашевским, нашим соседом, отцом Юстины, девушки Филипе. Как раз в этот момент Юстина выскочила из магазина. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами и обняла.

– В чем дело? – спросила я, но слова вырвались как выдох, потому что я уже подозревала ответ.

– О, мой отец обвиняет во всем евреев, а твой отец их защищает. – Юстина устало вздохнула одновременно со мной и пожала плечами. – Все тот же старый спор, который они всегда вели, только сегодня более жаркий из-за скопления.

– Скопления? – повторила я в замешательстве. Юстина смерила меня пристальным взглядом, схватила за локоть и притянула к себе.

– Скопления людей на границе, – прошептала она, как будто мы делились скандальной сплетней. – Ты должна знать! Вот почему очень многие запасаются.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – призналась я, и, прежде чем мой отец вернулся, Юстина торопливым шепотом сообщила, что гитлеровская армия нацелилась на нас; вторжение теперь кажется неизбежным.

– Не могу поверить, что твои родители не предупредили тебя, – прошептала она.

– Они обращаются со мной, как с ребенком, – простонала я, качая головой. – Они думают, что им нужно защитить свой хрупкий маленький цветок от новостей, которые могут меня

расстроить.

Я достаточно знала о ситуации с нацистским режимом, чтобы нервничать, но тем не менее растерялась от такой новости. Нацелилась на нас? Чего они могут от нас хотеть? Юстина предложила ответ еще до того, как я задала этот вопрос.

– Мой отец говорит, что это из-за евреев. Он говорит, что если бы у нас в стране не было так много евреев, Гитлер оставил бы нас в покое. Ты же знаешь, какой он, Алина. Отец всегда винит евреев. И ты знаешь, какой твой отец...

– Поляк – это поляк, – ошеломленно прошептала я, автоматически повторяя слова, прежде чем снова сосредоточиться на своей подруге. – Но, Юстина, ты уверена? Мы действительно собираемся вступить в войну?

– О, не волнуйся, – проговорила Юстина, одарив меня уверенной улыбкой. – Все говорят, что у нацистов почти нет боеприпасов и польская армия быстро разгромит их. Отец совершенно уверен, что все закончится в течение нескольких недель.

И в этот момент я словно прозрела: впервые я поняла недавнюю лихорадочную активность моих родителей и братьев, и я наконец осознала их ошеломляющую настойчивость в консервации различных припасов, задолго до того, как мы обычно это делали. Когда мой отец направил подводу обратно к нашему дому, я обратила внимание, что даже дороги необычно оживлены, и это не было признаком того, что горожане радуются теплой погоде: скорее, люди переезжа-

ли. Люди будто существовали в другом режиме – все куда-то спешили. Некоторые направлялись в Варшаву или Краков, предполагая, что в крупных городах будет безопаснее. Казалось, никто не знал, что делать, но не в нашей национальной природе было оставаться на месте и ждать катастрофы, поэтому люди продолжали действовать. С моих глаз словно спала пелена, и мне казалось, что жители моего города суетятся, как муравьи перед бурей.

– Это правда? Про вторжение?

– Тебе не нужно беспокоиться об этом, – хрипло сказал отец. – Когда придет время беспокоиться, мы с мамой дадим тебе знать.

В тот вечер я села и написала Томашу совсем другое письмо, чем планировала. Целую страницу я просто умоляла его вернуться домой.

«Не пытайся быть храбрым, Томаш. Не жди страшного. *Просто возвращайся домой* — и будешь в безопасности».

Теперь я не совсем понимаю, с чего я решила, учитывая нашу близость к границе, что дом будет для нас безопасным местом. Но в любом случае Томаш не вернулся.

Все развалилось так быстро, что даже если он и отправил мне ответное письмо, оно так и не дошло. Мне показалось, что привычная жизнь рухнула в одночасье.

1 сентября 1939 года меня пробудил от глубокого сна звук дребезжащего стекла в окне моей спальни. Сначала я не

узнала звук приближающихся самолетов. Я даже не осознала, что мы в опасности, пока не услышала, как отец кричит из комнаты рядом со мной.

– Проснись! Мы должны добраться до сарая! – кричал он хриплым спросонья голосом.

– Что происходит? – отозвалась я, откидывая одеяло и соскальзывая с кровати. Я едва успела открыть дверь своей спальни, когда вдалеке раздался первый из множества взрывов, и окна снова задребезжали, на этот раз сильнее. В нашем крошечном доме было темно, но когда мама распахнула входную дверь, внутрь хлынул лунный свет, и я увидела, как братья бегут к ней. Я знала, что мне тоже нужно бежать, но мои ноги не двигались – возможно, я все еще была в полусне, или, возможно, это было потому, что все происходящее походило на ужасный кошмар, и я никак не могла заставить себя сдвинуться с места. Филипе добрался до входной двери, заметил меня и пересек маленькую гостиную, чтобы взять меня за руку.

– Что происходит? – повторила я, когда он потащил меня к сараю.

– Нацисты сбрасывают бомбы с самолетов, – мрачно сказал мне Филипе. – Мы подготовились, и у нас есть план, Алина. Просто делай, как говорит отец, и у нас все будет хорошо.

Он втолкнул меня в сарай вслед за Станиславом, отцом и мамой, и как только мы оказались внутри, отец закрыл за нами тяжелую дверь. Кровь застучала в висках от внезапной

темноты, но затем я услышала скрип петель открывающейся в полу задвижки.

– Только не в подвал, – запротестовала я. – Пожалуйста, мама...

Руки Филипе опустились мне на плечи, и он подтолкнул меня к отверстию, мама схватила меня за запястье и потянула вниз. Ее пальцы впились мне в кожу, и я отчаянно отстранилась, пытаясь отступить назад.

– Нет, – запротестовала я. – Мама, Филипе, вы же знаете, что я не могу туда спуститься...

– Алина, – настойчиво произнес Филипе. – Что страшнее – темнота или бомба, упавшая тебе на голову?

Я позволила им утащить меня вниз, в удушающую темноту. Когда я погрузилась в тесное пространство, звук моего сердцебиения показался мне неестественно громким. Я поползла по грязному полу, чтобы найти угол, села, обхватив руками колени. Когда раздавался следующий раунд гулких раскатов, я невольно вскрикивала. Довольно скоро я сидела на грязном полу в позе эмбриона, зажав уши руками. Особенно громкий взрыв потряс весь подвал, и когда на нас посыпалась пыль, я обнаружила, что рыдаю от страха.

– Это был наш дом? – выдавила я сквозь слезы, когда на мгновение наступила тишина.

– Нет, – ответил отец, его тон был мягко упрекающим. – Мы пойдем, когда это коснется нашего дома. Это в Тшебине: они, вероятно, бомбят железнодорожную линию... мо-

жет быть, промышленные здания. У них нет причин разрушать наши дома. Скорее всего, мы в безопасности, но будем прятаться здесь, пока это не прекратится, просто чтобы быть уверенными.

Филипе и Станислав сели по обе стороны от меня, а затем подвал снова наполнился давящей тишиной, когда мы замерли в ожидании следующего взрыва. Но, к нашему удивлению, послышались более приятные звуки.

– Привет?! – раздался далекий приглушенный голос. – Мама? Отец?

Мама вскрикнула от радости и открыла люк, затем забралась наверх, чтобы помочь моей сестре Труде и ее мужу Матеушу спуститься в подвал. К моему огромному облегчению, отец включил масляную лампу, чтобы осветить им путь. Как только мы все снова оказались в безопасности в подвале, мама и Труда обнялись.

– Что нам теперь делать? – спросила я, затаив дыхание. Все обернулись ко мне.

– Ждать, – пробормотала мама. – И молиться.

* * *

Большую часть того первого дня мы провели, прижавшись друг к другу, спрятавшись в подвале под сараем. Самолеты прилетали, улетали и возвращались, снова и снова. Позже мы узнали, что за те долгие часы, что мы прятались, на наш

регион было сброшено несколько сотен бомб. Бомбардировки были эпизодическими, непредсказуемыми и жестокими. С моей позиции в подвале взрывы вблизи, вдали и повсюду вокруг нас звучали так, как будто конец света происходил прямо над нашим сараем.

Большинство людей понятия не имеют, на что на самом деле похож затянувшийся ужас. Я тоже не знала до того дня. В этой жуткой темноте я обливалась потом часами, часами и часами, уверенная, что в любую секунду на нас упадет бомба, что в любую секунду подвал обрушится, что в любую секунду в дверях появится человек с оружием, чтобы забрать мою жизнь. Я не чувствовала себя комфортно в замкнутом пространстве даже в лучшие времена, но в тот день я ощутила такой глубокий страх, о котором даже не подозревала, что он возможен. В тот день я снова и снова мысленно переживала свою смерть. Такая крайняя тревога не подчиняется обычным эмоциональным закономерностям; она не устает, она не исчезает, к ней невозможно привыкнуть. Спустя восемь часов после начала воздушных ударов я оставалась такой же ошеломленной, как в первый момент, и была полностью убеждена, что единственным концом для страха будет конец самой жизни.

Бомбардировки прекратились в начале следующего дня. Сперва мы не осмеливались вздохнуть с облегчением, потому что обычно эти перерывы длились недолго. На этот раз прошли долгие минуты, и спустя некоторое время даже звук

двигателей самолета затих в благословенной тишине. Филипе отчаянно хотелось сбегать на соседнюю ферму, чтобы проведать Юстину и ее семью. Это было всего в нескольких сотнях футов – он заверил нас, что пойдет вдоль леса, прячась за деревьями, и вернется меньше чем через полчаса. Мама и папа поворчали, но в конце концов позволили и как и следовало ожидать, как только разрешение было получено, Станислав решил, что он пойдет с братом.

Все остальные высунулись в дверной проем сарая, чтобы подышать свежим воздухом, и поскольку небо все еще было ясным, мы оставались там до возвращения близнецов. Отец и Матеуш сидели в дверях; мама, Труда и я расположились позади них. Пока мы ждали, Труда и мама тихо беседовали, но я молчала, во рту у меня слишком пересохло для болтовни.

Как и было обещано, братья ушли меньше чем на полчаса, но они вернулись заметно потрясенные, и сначала я подумала, что случилось худшее. Подойдя к сараю, они примостились у дверных косяков по обе стороны от отца и Матеуша. Были и хорошие новости – семья Голашевских не пострадала. Но Ян съездил в Тшебиню во время последнего короткого перерыва в бомбардировках. Он видел, как местные жители ходят по улицам, оплакивая потерю своих семей; видел детей с такими тяжелыми травмами, что Филипе не мог вынести повторения деталей; видел десятки горевших домов.

Несколько часов, проведенных в подвале, я была охваче-

на тревогой, и моя собственная безопасность полностью завладела моими мыслями, но когда брат передал рассказ Яна, меня охватил новый страх. Я мгновенно поняла последствия серьезных повреждений в Тшебине и риски для Алексея и Эмилии. Медицинская клиника находилась недалеко от городской площади – как раз там, где дома стояли наиболее плотно. И если они были мертвы, это означало, что когда в один прекрасный день Томаш вернется, его не будет ждать семья. Внезапно все свелось к осознанию последствий этих событий для Томаша.

– Алексей... – прохрипела я. Все повернулись ко мне, и я увидела печаль в их глазах. – С Алексеем и Эмилией все должно быть в порядке! По-другому не может быть!

– Если с Алексеем все в порядке, он ухаживает за ранеными... – пробормотала мама.

Я могла себе это представить – Алексей прятался во время бомбежки, а затем появился, чтобы помочь раненым, но если это было правдой, то кто утешал и защищал Эмилию? Я пережила бомбардировки в окружении всей своей семьи – и это все еще было самым ужасным опытом в моей жизни. А ей было семь лет, и в отсутствие Томаша у нее оставался только отец, так что если он был занят или даже ранен...

– Мы должны забрать Эмилию! – выпалила я, и Филипп нетерпеливо вздохнул.

– Как? Кто знает, когда вернутся самолеты?

– Но если Алексей занят тем, что помогает людям, с кем

будет девочка? Она, возможно, одна! Пожалуйста, отец! Пожалуйста, мама, мы должны что-то сделать!

– Мы ничего не можем сделать, Алина, – мягко сказал отец. – Мне очень жаль. Что будет, то будет.

– Мы станем молиться, – заявила мама. – Это все, что мы можем.

– Нет! – воскликнула я, яростно мотая головой. – Ты должен пойти и забрать ее, отец. Ты должен! Она ребенок – совсем одна в этом мире. Она тоже моя семья! Пожалуйста!

– Алина! – застонала Труда. – Ты просишь о невозможном. Сейчас очень опасно ходить в город.

Я не могла позволить бросить ребенка одного, даже когда мольбы моих родителей о молчании сменились резкими требованиями, чтобы я прекратила эту тему. Когда я заплакала и пригрозила отправиться в путешествие сама, Филипе поднялся с земли и отряхнул брюки. Мама запричитала:

– Не будь глупцом, Филипе! Ты уже однажды испытал судьбу...

– Алина права, мама. Мы будем хуже нацистов, если бросим эту маленькую девочку на произвол судьбы, пока ее отец работает, спасая жизни.

– Если она вообще жива, Филипе. Ты можешь добраться до города и обнаружить, что они погибли, – пробормотал отец себе под нос.

– Отец! Не говори таких вещей! – Я задохнулась.

– Я с ним, – заявил Стани.

– Думаю, мне тоже стоит поехать, – тихо произнес Матеуш. Настала очередь Труды возмутиться, но он мягко добавил: – Заодно я посмотрю, как там наш дом. Мы с мальчиками будем действовать быстро и осторожно. Мы можем сразу пойти назад, если услышим, что самолеты возвращаются, – ты же сама знаешь, вчера нам потребовалось всего десять минут, чтобы добраться сюда.

Мама яростно выругалась и всплеснула руками:

– Вы пытаетесь убить меня, мальчики! Вы уже однажды искушали судьбу и выжили. Теперь вы просто пытаетесь заставить мое сердце от страха перестать биться!

– Мама, мы просто делаем то, для чего ты нас воспитывала, – сухо сказал Филипе. – Мы пытаемся поступать правильно.

– Но что, если бомбежка начнется снова...

– Фаустина, – теперь голос Матеуша звучал тверже, – мы с вами слышали взрывы. Они летят во все стороны, даже на запад, где нет ничего, кроме фермерских домов, – самолеты нацелены не только на город. Поэтому здесь мы не в большей безопасности, чем в городе.

Спорить с этим было бессмысленно, и вскоре они ушли. Отец велел им бежать на холм и на несколько минут спрятаться в лесу, чтобы убедиться в отсутствии самолетов на горизонте, прежде чем они окажутся на поляне с другой стороны. Как только ребята ушли, сестра и родители устремили на меня обвиняющие взгляды, и я почувствовала, что краснею.

Внезапно мне с запозданием пришло в голову, что я вынудила братьев и шурина рисковать жизнью, и все это в надежде, что я смогу уберечь Томаша от горя. Но я любила Эмилию и Алексея и искренне боялась за их безопасность. Я не жалела, что убедила своих братьев отправиться на их поиски – меня страшило только одно: что мой поступок мог привести к невообразимой потере. Я попыталась объяснить с оставшимися членами семьи:

– Я просто...

– Лучше тебе помолчать, пока они не вернутся, – решительно перебила меня Труда. – Сиди там, Алина Дзяк, и сосредоточь свою энергию на молитве о том, чтобы ты только что не убила наших братьев и моего мужа.

Именно это я и сделала. Когда братья в первый раз покинули подвал, минуты тянулись медленно, но сейчас был совершенно новый уровень пытки. В конце концов тишину нарушил детский плач. Мы все выбежали из сарая и увидели близнецов, бок о бок спускающихся с холма, Матеуш следовал за ними по пятам с Эмилией на руках. Она рыдала, громко и безутешно.

– О, малышка! – воскликнула сестра и бросилась из сарая к мужу. Он осторожно передал Эмилию в протянутые руки Труды, и та немедленно начала утешать девочку.

– Ш-ш-ш, все в порядке, малышка. Теперь с тобой все будет в порядке.

Как только они оказались в пределах досягаемости сарая,

мама подошла к Труде и нежно провела рукой по щеке Эмилиии, подняла пристальный взгляд на меня. Мама явно была очень грустной, но и задумчивой, когда на меня смотрела.

Меня быстро отвлекли от маминого взгляда продолжающиеся рыдания Эмилиии. Я вопросительно взглянула на своих братьев, и Филипе поспешно покачал головой:

– С Алексеем все в порядке. В клинике тоже все нормально, если не считать нескольких разбитых окон.

– Но в доме Алексея есть раненые... и что еще хуже... очередь людей, ожидающих помощи по всей улице. – Матеуш подошел ко мне и заговорил очень осторожно, его голос был низким и мягким. – Эмилиия видела, как пострадала одна из ее школьных подруг... Она очень испугалась, убежала и спряталась в шкафу. Алексей сказал, что раненые приходили в дом с тех пор, как началась бомбежка, и у него не было времени утешить дочь. Он был очень благодарен нам и спросил, можем ли мы оставить ее у себя, пока ситуация не станет безопаснее. Это может занять несколько дней.

– Конечно, можем, – тихо пробормотала мама. Она забрала Эмилиию у Труды и подержала ее мгновение, потом передала малышку мне. Труды и Матеуш обнялись, а мама осыпала поцелуями лица братьев. – Вы слишком храбры.

Эмилиия обвила руками мою шею. Она прижалась заплаканным лицом к моему плечу. Девочка дрожала всем телом и шумно дышала между всхлипываниями.

– Алина, шум был такой громкий... В магазин мистера

Эриксона попала бомба, и наш дом задрезбезжал, и все стекла разбились...

– Я знаю...

– А Майя из моей школы уснула, и ее мама кричала, и папа никак не мог ее разбудить, и я не понимаю, почему у нее на лице было так много крови. Почему там было так много крови?

– Тс-с, тише, – прошептала мама. Труда подошла ко мне, ее обеспокоенный взгляд был прикован к Эмилии. Она обняла меня за плечи, нежно опустила на землю и свернулась калачиком рядом со мной. Я уложила Эмилию к нам на колени, и когда стала гладить ее по спине, Труда запела. Мама сидела напротив, внимательно наблюдая за нами.

– Просто отдохни, малышка, – мягко произнесла она. – Теперь ты в безопасности.

– А как же Томаш? – просипела девочка, ее тихий голос все еще был слабым и неровным. – Он совсем один в Варшаве. Что будет с моим братом?

Все промолчали, и я напряглась, а затем бросилась утешать ее. Или, возможно, я пыталась утешить себя.

– Варшава так далеко, – твердо сказала я. – Самолеты, вероятно, даже не могут летать так далеко. Лучше, чтобы его здесь не было, Эмилия. Там он наверняка будет в большей безопасности.



В последующие дни мы толпились у отцовского радиоприемника, чтобы послушать последние новости. Поскольку он был простейшим кристаллическим устройством, которое близнецы собрали несколько лет назад, его мог слушать только один человек с помощью жестяных наушников. Я толкалась среди остальных, ожидая своей очереди, вот только потом всегда сожалела о тех минутах, которые провела у радио, потому что новости никогда не были утешительными. Разрушались целые города, но маленькие истории причиняли больше всего боли. Мы слышали бесконечные рассказы о фермерах, расстрелянных на своих полях с самолетов из пулеметов, и даже одну ужасную историю о дедушке, который собирал последние овощи, когда пилот сбросил бомбу прямо на него. Эта история красноречиво рассказала мне о мощи захватчиков и о том, как плохо вооружена наша страна – мы были просто крестьянами, стоящими в грязи, совершенно беззащитными перед мощными взрывчатыми веществами, сброшенными с воздушных боевых машин непостижимо полными ненависти пилотами.

Через несколько дней после бомбардировок в нашем районе появились нацистские войска, потому что оборона местной армии была быстро сломлена. После этого бомбардировки прекратились, зато самолетов стало еще больше, только

теперь они пролетали над нами, однако не возвращались, и почему-то это было еще хуже. Вскоре начали прибывать грузовики, с грохотом проезжая по городу, еще не останавливаясь, но уже одним своим присутствием обещая, что в один прекрасный день все, что осталось нетронутым после бомбежки, все равно будет уничтожено. Мужчины из моей семьи совершили еще одну поездку в город и снова вернулись угрюмые.

– Повсюду развешаны объявления, – пробормотал отец.

– Завтра в полдень состоится городское собрание, и мы все должны присутствовать. – Матеуш перевел взгляд на Труду. – Мы должны вернуться домой сегодня вечером, любовь моя. Возможно, если мы будем в доме, мы сможем защитить его.

– Защитить его от нацистов? – спросила она несколько недоверчиво. – Каким образом? Голыми руками?

– Пустой дом в городе уязвим, Труды, – сказал он. – Кроме того, нацисты нарушили национальную границу. Как ты думаешь, этот маленький холм сможет их сдержать? Теперь, когда бомбардировки прекратились, мы здесь не в большей безопасности, чем в городе.

– Вы видели моего папу? – спросила Эмилия. Ее голос был очень тихим. Казалось, она тает с каждым часом, несмотря на пристальное внимание со стороны сестры, мамы и меня. Матеуш и отец одновременно покачали головами.

– Твой папа все еще очень занят, помогая людям, но с ним

все хорошо, – резко сказала мама. – Алина, займи ребенка. Пусть взрослые поговорят.

Мы вернулись в мою спальню и сели на диван, и я попыталась поиграть в одну из игр со считалочкой, которые так любила Эмилия, вместе с тем стараясь подслушать разговор в главной части дома.

– Все же будет хорошо, Алина, правда? – внезапно спросила меня девочка. Она выглядела испуганной, ее и без того огромные зеленые глаза на бледном лице казались еще больше.

Я заставила себя улыбнуться.

– Конечно, сестренка. Все будет просто замечательно.

* * *

После бессонной ночи мы пешком отправились на городскую площадь. Мы пошли не через лес и через холм, а по дороге, что означало более длительное путешествие, но, казалось, никто из нас не спешил добраться до места назначения.

К тому времени, когда мы прибыли, на площади уже собралась толпа, ожидавшая в напряженной, жуткой тишине. Когда мы присоединились к ней, я втиснулась между родителями, как будто они могли защитить меня от всей этой тяжести. Станислав оставил нас, чтобы встать с Ирен, девушкой, за которой он ухаживал. Филипе отправился на поиски Юстины. Труда и Матеуш тоже были там, но, к мое-

му удивлению, предпочли остаться рядом с женой мэра и ее детьми. Оглядывая толпу вокруг, я узнала всех и почувствовала двойной укол: зависти и страха. Мне так хотелось, чтобы Томаш оказался здесь, со мной! Я верила, что все было бы менее запутанным, если бы только моя рука находилась в его руке. Я сжала ладонь его младшей сестры и покрутила головой в поисках Алексея. Он был высоким, как Томаш, так что я была уверена, что рано или поздно найду его, а потом смогу указать на него, чтобы утешить Эмилию.

В этом месте, которое я так хорошо знала, я чувствовала себя оторванной от всего, что нас окружало, от всего, что в такой солнечный день должно было выглядеть прекрасно. Только ничто не казалось красивым, и более того – ничто даже не казалось знакомым. Среди нас были незнакомцы, и они каким-то образом теперь оказались главными, и именно этот факт полностью исказил пейзаж, который я всегда воспринимала как родной дом. Эти люди выглядели как статуи в своей жесткой, безупречно отглаженной униформе, с невозможным красным пятном нарукавной повязки со свастикой, которую они носили с явной гордостью. Мне пришло в голову, что нацистская форма каким-то образом лишила их человечности, лишила их уникальности и оставила им единую силу солидарности, подобную прочной стене, вторгающейся в наше пространство. Это были даже не люди – они были отдельными компонентами машины, которая появилась, чтобы уничтожать.

Командир кричал по-немецки на всю площадь. Сначала я слушала только тон его голоса – презрение, агрессию, власть, – но каждое слово сжимало тиски страха в моем сердце. Я просто не могла вынести это, не зная, что он говорит, или даже не понимая, почему у него не хватило простой вежливости поговорить с нами на нашем родном языке. Спустя некоторое время я повернулась к маме и прошептала:

– Что он говорит?

Ответом моей матери был лишь нетерпеливый приказ замолчать, но довольно скоро я увидела, как ее глаза расширились, и впервые на ее лице появилось выражение страха. Я проследила за ее взглядом к углу площади, где группа солдат толкала двух «заклученных» со связанными за спиной руками вперед, к центру. Я вгляделась в их лица и с ужасом узнала обоих – сзади был наш мэр, а впереди, без страха и колебаний глядя в толпу, стоял Алексей.

Оглядываясь сейчас назад, я подозреваю, что такой блестящий человек, как Алексей, точно понимал, что его ждет, но он с высоко поднятой головой вышел на городскую площадь. Оглядев толпу, он остановил взгляд на Эмилии и улыбнулся ей, словно желая успокоить. Я потянула ее, чтобы она встала передо мной, и обняла ее сзади. Она напряглась в моих объятиях, наверняка такая же растерянная, как и я. Почему Алексей в беде? Он никогда не делал ничего плохого за всю свою жизнь. Алексей улыбнулся мне, и когда наши глаза встретились, он кивнул один раз. Он казался спокой-

ным, почти безмятежным. Вот почему я на миг подумала, что все будет хорошо, потому что Алексей был самым мудрым человеком в городе, и уж если он не обеспокоен, то почему я должна волноваться?

Но затем командир схватил Алексея за плечо и с силой толкнул на землю – руки Алексея были связаны за спиной, так что он беззащитно ударился лицом о гранитный булыжник, которым была выложена площадь. Прежде чем он успел прийти в себя, другой солдат сунул руку в волосы Алексея и потянул его вверх, пока тот не оказался на коленях. Алексей не смог сдержать крика боли, и я собрала все свои силы, чтобы не закричать.

Мама схватила меня за плечо, и когда я повернулась к ней, ее взгляд был прикован к Эмилии.

– Закрой ей глаза, – решительно сказала она.

– Но почему они... – начала я, когда мои руки поднялись к лицу Эмилии. Я услышала щелчок взводимого курка пистолета и подняла глаза.

Смерть Алексея была почему-то слишком простой и быстрой, чтобы быть реальной, один-единственный выстрел в затылок – и он умер. Мне хотелось кричать – неужели такая долгая и полная жизнь может закончиться вот так, без достоинства, цели или чести? Но солдаты отбросили его тело в сторону, словно в этом не было ничего особенного, а затем точно так же застрелили мэра. Я была в ужасе от происходящего, у меня закружилась голова, все это было чересчур,

чтобы осознать в одно мгновение. Мои собственные глаза, должно быть, лгали мне, потому что то, что я видела, было совершенно нелогичным.

Алексей Сласки был исключительным человеком, но именно то, что делало его таким важным для нашего городка – его интеллект, его подготовка, его природная способность руководить, превратила его в мишень. Дестабилизировать группу людей совсем не сложно, если вы готовы быть достаточно жестоким. Вы просто выбиваете фундамент, и естественным следствием этого является то, что все остальное начинает рушиться. Нацисты знали это – и именно поэтому одной из их самых первых тактик в Польше была казнь или заключение в тюрьму тех, кто мог возглавить любое восстание против них. Алексей и наш мэр были одними из первых из почти ста тысяч польских лидеров и ученых, которых предстояло казнить в рамках программы *Intelligenzaktion*⁸ в первые дни вторжения.

Ступор Эмилии прошел слишком быстро, и она начала кричать во всю силу своих легких. Солдат рядом с нами направил на нее пистолет, и я сделала самую храбрую и глупую вещь, которую когда-либо делала в своей жизни, по крайней мере, до этой минуты. Я загородила ее собой и взмолилась: – Пожалуйста, господин, пожалуйста! Моя сестра рас-

⁸ Операция *Intelligenzaktion* – «Интеллигенция» (нем.) – обобщающее название немецких репрессий против польской элиты, в основном представителей интеллигенции.

строена. Пожалуйста, я успокою ее.

Не дожидаясь его ответа, я резко отвернулась и вся напрыглась, готовая к жгучей боли от пули, выпущенной мне в спину, и в ту же минуту встретилась взглядом с Эмилией и с силой прижала ладонь к ее губам. Глаза девочки были дикими от ужаса и горя, но я надавила так, что она теперь с трудом могла дышать через свой заложенный нос. Слезы текли по ее маленькому личику, и когда я поняла, что не буду застрелена, а она наконец немного успокоилась, я низко наклонилась и прошептала ей:

– Ты можешь помолчать, сестренка? Это очень важно.

Она продолжала смотреть остекленевшим взглядом, но все-таки кивнула. Я уловила это едва заметное движение, но не совсем поверила ему. Тем не менее ослабила давление. Девочка втянула ртом воздух, однако не закричала. Вскоре толпа поредела; Эмилия стояла в оцепенении, не отрывая глаз от тела отца, брошенного у камня на другой стороне площади. Я обняла ее за плечи и с силой развернула к своим родителям.

– Мы не можем забрать ее, по крайней мере, насовсем, – яростно зашептала мне мама. – Мы слишком стары и слишком бедны, а ты слишком молода, и ты одна. Жить в оккупации будет тяжело, и мы просто не знаем, как... – Ее голос сорвался, а взгляд метнулся к лицу Эмилиии, затем она снова посмотрела на меня, в ее глазах читалось страдание. Но она быстро вздернула подбородок и, посуровев, сказала: – Мне

очень жаль, Алина. Но тебе нужно найти кого-то, кто позаботится о девочке.

– Я понимаю, – тяжело ответила я.

– После возвращайся прямо домой. Сейчас не время бродить по городу в одиночку, ты меня слышишь?

Честно говоря, я не могла поверить, что они готовы оставить меня одну в городе после того, что мы только что видели, поэтому в ужасе запротестовала:

– Но мама, вы же останетесь и поможете? Ты или отец...

– У нас дома есть работа, которую нужно делать. И она не может ждать, – отрезала она. Я больше не осмелилась возражать, потому что она явно была настроена решительно. Я огляделась в поисках братьев, однако оба уже ушли со своими подружками. Мама направилась в сторону дома, потянув за собой откровенно сопротивляющегося отца.

Я вглядывалась в рассеивающуюся толпу, впервые осознавая, каково это – ставить чье-то благополучие выше собственных инстинктов самосохранения. Мне хотелось рухнуть на землю и зарыдать или, еще лучше, побежать за родителями, подобно испуганному ребенку. Но я обняла Эмилию за плечи и двинулась в путь.

– Алина, – хрипло сказала Эмилия, когда мы оказались на некотором расстоянии от площади.

– Да, сестренка?

– Мой папа... – продолжала она, и ее зубы застучали. – Мой папа умер... Тот мужчина приставил пистолет к его го-

лове и...

– Он умер, но ты, моя дорогая девочка, ты все еще здесь, – перебила я ее. – И ты не должна бояться, Эмилия. Потому что я найду для тебя безопасное пристанище до возвращения Томаша.

Глава 5

Алина

Пока мы с Эмилией шли с площади, я с тяжелым сердцем поняла, что если мама не хочет взваливать на себя заботу о маленькой девочке, остается только один вариант. В городе были и другие семьи, которые могли бы приютить ее, вот только не было уверенности, что они смогут заботиться о ней так, как она того заслуживала.

Труда была очень похожа на маму – добрая, хотя временами несколько резкая, – однако Матеуш был более мягким, довольно веселым и жизнерадостным. Кроме того, он унаследовал текстильную фабрику от своего отца, поэтому обеспечил моей сестре очень комфортную городскую жизнь. Они жили в большом доме на лучшей улице города, и в их доме даже было электрическое освещение, чему я очень завидовала, потому что мы все еще обходились масляными лампами. Я знала, что Труда и Матеуш хотели детей, но даже после многих лет брака она все еще не забеременела.

У них были возможности и достаточно места, чтобы обеспечить Эмилию семьей, но я нервничала, собираясь просить их об этом. Труда была на восемь лет старше меня, и мы не были слишком близки.

Альтернативы просто не существовало, как бы я ни лома-

ла голову, поэтому я с плачущей Эмилией на буксире прошла несколько кварталов от площади до дома Труды. Мы свернули на красивую, не очень широкую мощеную улочку, обсаженную каштанами, усыпанными зрелыми сладкими плодами. Этот район был застроен двухэтажными домами, а вдоль всего тротуара были разбиты цветочные клумбы. У многих обитателей этой улицы были машины – в ту пору это было в диковинку. И это была самая первая улица в городе, где появилось электричество. Возможно, с такими большими домами и такой маленькой проезжей частью эта улица могла бы показаться тесной, если бы в конце не переходила в огромный парк – настоящий рай с мягкой зеленой травой и еще большим количеством каштанов, пространство, в центре которого находился огромный квадратный пруд, где летом плавали утки и играли дети.

Мне казалось, что сестра скоро вернется с городской площади, но время шло, и я уже начала беспокоиться, что она все-таки отправилась к родителям. Мы с Эмилией сидели на ступеньках и смотрели, как толпа заполняет здание через дорогу. И тут я поняла, почему на площади Труды и Матеуш стояли рядом с женой мэра – они были соседями. Моя сестра наверняка сейчас там, утешает скорбящую вдову и ее многочисленных детей. Я не осмелилась туда пойти – так что все, что я могла сделать, это сидеть рядом с Эмилией и ждать. Девочка без конца плакала, и иногда ее трясло так сильно, что мне приходилось прижимать ее к груди, чтобы успокоить.

– Будь мужественной, Эмилия, – проговорила я сначала, потому что знала, что именно так сказали бы мама или Труда, окажись они на моем месте, однако эти слова показались мне жестокими. Поэтому я больше ничего не стала говорить и просто плакала вместе с ней, пока рукава моего платья не промокли от наших слез.

Когда Труда наконец появилась на тротуаре, она встала как вкопанная, увидев представшее перед ней зрелище. Я глубоко вздохнула и приготовилась выпалить заранее заготовленную речь, которая должна была убедить сестру. Но Труда стремительно направилась к крыльцу. Теперь ее шаги были быстрее, подбородок – высоко поднят, взгляд решителен. На миг я испугалась, что она собирается нас прогнать, особенно в тот момент, когда она обошла нас и открыла входную дверь. Но Труда остановилась на пороге и мягко произнесла:

– Ну что, пойдём, малышка? Нужно приготовить тебе постель.

– Вы возьмете ее к себе? – удивилась я.

– Конечно, мы возьмем ее, – сухо отозвалась Труда. – Эмилия теперь наша дочь. Правда, Матеуш?

Тот просто наклонился, подхватил Эмилию на руки и стал укачивать, словно младенца, точно так же, как в тот день, когда привел ее из города. Она была слишком взрослой и слишком большой, чтобы ее можно было носить таким образом, но все равно уютно устроилась в его больших руках.

– Тебе нужно, чтобы я проводил тебя домой, Алина? – спросил Матеуш. – Я могу, но тебе придется подождать, пока мы уложим Эмилию. Или ты можешь уйти сейчас и будешь дома до темноты.

Эмилия прижалась лицом к плечу Матеуша и обняла его за шею, и внезапно я почувствовала себя незванным гостем в этой совершенно новой семье, которую я каким-то образом помогла создать. Я покачала головой и еще раз посмотрела на сестру.

– Спасибо, – прошептала я. Меня переполняли благодарность и облегчение. Рыдания сорвались с моих губ, и я лишь повторила: – Спасибо вам!

Труда, как обычно, была смущена моим открытым проявлением эмоций. Она нетерпеливо отмахнулась от моей благодарности, но ее глаза жадно впитывали эту картину – Эмилия в объятиях ее мужа.

– Иди домой, – тихо произнесла Труда. – И пожалуйста, Алина, будь осторожна. Надеюсь, я в последний раз вижу, как ты бродишь по городу в одиночку. Это теперь совершенно небезопасно.

Я бежала всю дорогу, вверх по тропинке, через лес к холму и вниз, к дому. К тому времени, когда я добежала, уже сгущались сумерки, и я была совершенно измучена. Мои братья загоняли животных в сарай, и мы обменялись взглядами, когда я вошла в ворота. Глаза Филипе были красными, как будто он плакал весь день.

Когда я распахнула входную дверь, обнаружила, что мама и папа стоят у обеденного стола, их руки сцеплены под ним, будто они его сдвигали. В этом не было никакого смысла – наша мебель всегда стояла на одном и том же месте, сколько я себя помню. Я встряхнула головой, как будто у меня была галлюцинация: еще одно бессмысленное событие за день, который был кошмарно сюрреалистичным, но образ не исчез.

– Что вы делаете?! – выпалила я. Мама, прищурившись, пристально посмотрела на меня.

– Это тебя не касается, детка. Куда ты ее отвела? – Ее тон был жестким, взгляд озабоченным.

– К Труде, – ответила я. Мама удовлетворенно кивнула и отошла от стола обратно к пузатой плите, где в кастрюле кипел суп.

– Я должна была подсказать тебе это... Я была слишком напугана... Я не подумала. Молодец!

– Что говорил сегодня командир? – поинтересовалась я, и мягкость полностью исчезла из ее глаз, когда она бросила на меня хмурый взгляд.

– Он не командир, – решительно заявила она. – Никогда не называй этих животных так, будто они люди. Не давай им властных или уважительных титулов. Эти свиньи – захватчики, не более того.

– Что... что сказал захватчик? – слабо проговорила я. Но мама не смотрела на меня.

– Тебе нужно поесть суп. Ты должна есть и быть сильной. Эти месяцы будут тяжелыми, пока мы не найдем способ победить их.

– Мама! – взмолилась я. – Мне нужно знать.

– Все, что тебе нужно знать, ты сегодня видела, Алина, – вмешался отец; его тон был напряженным. – В его речи было много бахвальства и предупреждений о том, что они будут забирать продукцию... в конечном итоге они планируют забрать фермы для немецких поселенцев. Словом, ничего такого, чего бы мы с твоей матерью не ожидали. Мы крепкие люди – мы выдержим это и будем надеяться на лучшее.

– Заберут ферму?! – ахнула я.

– Их планы грандиозны... и непрактичны. Это перемещение не произойдет в одночасье, и пока ферма остается продуктивной, возможно, нас пощадят.

– Но что будет с нами, если они заберут ферму? – Я поперхнулась. Мама прищелкнула языком и махнула в сторону стола и стульев.

– Хватит, Алина. Мы не можем знать, ни что произойдет, ни даже когда это произойдет. Все, что мы можем сделать, это изо всех сил стараться не высовываться.

Я не хотела супа. Я не хотела горячего чая, который мне приготовила мама. Я точно не хотела, чтобы отец сунул мне в руки стакан с водкой и в конце концов заставил меня выпить. Я просто хотела снова чувствовать себя в безопасности! Но наш дом был осквернен, а Алексей хладнокровно расстрелян

прямо у меня на глазах, и каждый раз, когда я закрывала глаза, я видела, как это происходит снова и снова.

В ту ночь я лежала в своей постели и смотрела в окно. Рассеянные облака низко висели над нашим домом, и я наблюдала за мягким изгибом луны, когда она появлялась в промежутках между ними. Я так неохотно выпила водку, но как только жжение в горле прошло, я почувствовала, что мои конечности и разум расслабились, и я наконец перестала дрожать и обмякла в своей постели. Позволила мыслям обратиться к Томашу и задумалась, как сообщить ему о судьбе Алексея. Работает ли все еще почта? Могу ли я отправить ему письмо? *Должна ли я написать ему письмо?*

И наконец в этот момент из тумана и шока в моем сознании медленно возникла ужасающая мысль, которая становилась все объемнее, пока полностью не поглотила мой разум.

Томаш находился в Варшаве, учился в университете, чтобы стать врачом, как и его отец.

Алексея только что убили, потому что он был врачом.

Что, если Томаш тоже уже мертв?

Мое сердце бешено заколотилось, и дрожь началась снова. Я села и открыла верхний ящик, как следует порылась в нем, чтобы найти на дне кольцо. Я крепко сжала его в ладони – так крепко, что оно оставило глубокий отпечаток на моей коже, – а это было именно то, чего я хотела.

Мне нужно было, чтобы мои надежды поставили на мне отметину и мои мечты стали частью моего тела, чем-то ося-

заемым, что нельзя было потерять или забрать.

После повсеместной жестокости в первые дни оккупации нацисты сузили зону своего внимания. В Тшебине существовала процветающая еврейская община, и по мере того, как недели превращались в месяцы, именно еврейский народ нес на себе основную тяжесть насилия. С ними жестоко расправлялись, их грабили и не только нацисты, но и, к ужасу моего отца, банды местных приспособленцев, которые действовали открыто при свете дня – тем самым они стремились выразить солидарность с оккупационными силами.

Как только мы узнали, что Ян Голашевский участвовал в такой банде, отец запретил мне и Филипе видеться с Юстиной. Я была слишком напугана, чтобы послушаться, но Филипе стал тайком убегать по ночам, чтобы встречаться с ней в поле. Нацисты установили комендантский час, и мы не должны были выходить из дома после наступления темноты, поэтому, когда Филипе отказался прекратить свои ночные вылазки на свидания с любимой, отец был вынужден смягчиться.

– Юстина может приходить сюда в дневное время, либо вы можете встречаться с ней на границе между фермами. Она не виновата в том, что ее отец такой, какой он есть, но я не позволю своим детям переступить порог дома этого ублюдка.

Ситуация в Тшебине продолжала ухудшаться. Еврейские предприятия, а следом и дома были полностью конфиско-

ваны – затем целые семьи были вынуждены переселиться в «еврейский район» и отправлены работать на захватчиков. Установили ограничения на поездки и брак, а вскоре до нас дошли первые слухи о том, что друзей из города расстреливают: иногда за попытку бежать, но часто без всякой причины. Репрессии накатывали волнами, каждая из которых была беспощаднее предыдущей, устанавливая новый уровень «нормальности» для потрясенных евреев, живущих в городе, и тех из нас, кто наблюдал за происходящим из непосредственной близости.

Моя католическая семья всегда жила бок о бок с евреями в Тшебине: мы ходили в школу с их детьми, продавали им нашу продукцию и полагались на товары из их магазинов. Поэтому, когда петля на шее «нашей» еврейской общины начала затягиваться все туже, явная беспомощность, которую ощутили все остальные, повлияла на всех по-разному. Мама и папа проклинали нацистов и при этом яростно реагировали на любое предположение, что мы просто беспомощные свидетели разворачивающейся перед нами трагедии. Они были полны уверенности, что если мы будем держать голову опущенной, то сможем оставаться незамеченными и тем самым в безопасности. Но Станислав и Филипе были восемнадцатилетними парнями на пороге зрелости, переполненными гормонами и оптимистичной верой в то, что справедливость достижима. Они ждали, пока мама и папа не окажутся вне пределов слышимости, а затем начинали го-

рячо обсуждать растущие слухи о сопротивлении. Близнецы обменивались намеками на надежду, подстегивая друг друга, пока я не испугалась, что один из них или оба исчезнут в ночи и погибнут.

– Не делай ничего опрометчивого, – умоляла я Филипе при каждом удобном случае. Он был наиболее чувствительным из близнецов. Мама иногда говорила, что Станислав родился закаленным стариком. Филипе был мягче, гораздо менее высокомерен, и я знала, что если я смогу убедить его быть осторожным, Станислав, скорее всего, последует его примеру.

– Мама и папа думают, что если мы не будем высовываться, нацисты оставят нас в покое, – сказал мне Филипе однажды утром, когда мы вместе собирали яйца на птичьем дворе.

– Ты считаешь, это глупо? – спросила я, и он горько рассмеялся.

– Жизнь устроена иначе, Алина. Ненависть распространяется – она не сгорает со временем. Кто-то должен встать и остановить это. Помяни мое слово, сестра, когда они закончат с евреями, настанет наша очередь. Кроме того, даже если бы мы могли пережить войну с опущенными головами и сидеть сложа руки, пока нацисты забивают до смерти всех наших еврейских друзей, какую Польшу можно было бы восстановить после их ухода? Те люди так же важны для нашей страны, как и мы. Нам лучше умереть с честью, чем сидеть

сложив руки и смотреть, как страдают наши соотечественники, – сказал он.

– Отец твоей девушки не согласился бы со всем, что ты только что сказал, – пробормотала я, и Филипе тяжело вздохнул.

– Ян – фанатичная свинья, Алина. Достаточно трудно было оставаться любезным с этим человеком даже в лучшие дни – я с трудом заставлял себя быть с ним вежливым, потому что в противном случае потерял бы Юстину, а я люблю ее. Но разве ты не видишь? Именно из-за таких, как Ян, мы должны найти способ подняться – мы в долгу перед нашими сестрами и братьями.

Гнев Филипе только усилился, как только мы впервые напрямую столкнулись с преследованиями нацистов. Однажды группа офицеров СС остановила Труду и Эмилию на улице возле их дома, когда они шли на фабрику, чтобы повидаться с Матеушем.

– Я не понимала, что происходит, – шептала Труда нам с мамой, пока мы смотрели на Эмилию, угрюмо сидящую в углу. Филипе и Стани пытались ее рассмешить, но она была слишком потрясена, чтобы реагировать на их выходки. – Один из офицеров измерил ее рост и сказал, что она высокая для своего возраста, а глаза у нее зеленые, так что она достаточно близка к арийке, и они должны забрать ее.

– Забрать ее куда? – недоуменно спросила я.

– Я не знаю, – призналась Труда, пожимая плечами. – Но

умница Эмилия называла меня мамой, а у меня такие темные волосы. Нацисты посмотрели на меня и решили, что волосы девочки с возрастом потемнеют, и разрешили нам идти дальше.

– Вчера они забрали дочь Нади Новак, – пробормотал Филипе со своего места на полу. Он посмотрел на нас, в его глазах кипела ярость. Надя была тетей Юстины, сестрой ее матери Олы. Я видела дочь Нади – Паулину. Она была совсем крошечной, трех или четырех лет от роду, с ореолом светлых кудрей и ярко-голубыми глазами. – Эта программа называется «Лебенсборн». Эсэсовцы оценивают каждого ребенка в поселке на предмет его пригодности для изъятия из семей и «германизации». Солдаты сказали Наде, что Паулину поместят в немецкую приемную семью и дадут ей новое имя, чтобы у нее был шанс вырасти расово чистой. Надя отказалась отпускать дочь, поэтому солдаты просто вырвали ребенка из рук матери. Ола и Юстина сейчас там, пытаются утешить Надю. Она в отчаянии.

– Ох, бедняжка! – заохала мама, сложив руки на груди. – И муж ее погиб во время бомбежки... На ее долю выпало столько страданий!

– Я же говорил тебе, так ведь? – Филипе почти кричал, глядя прямо на меня. Его ноздри раздувались, а плечи напряглись. – Я говорил тебе, что это только вопрос времени, когда они возьмутся за нас. Это наше наказание, потому что мы залегли на дно и позволяем им пытаться наших еврейских

братьев и сестер, Алина. Теперь они крадут наших детей, и одному Богу известно, что будет с этой малышкой теперь, когда она вдали от своей семьи!

Эмилия слушала все это, ее глаза расширились, а подбородок задрожал.

– Филипе, – зашептала я, с тревогой глядя на нее. – Пожалуйста, не сейчас.

Станислав попытался разрядить ситуацию – он игриво наскочил на Филипе, который вскрикнул от удивления. Он уже собрался сбросить Стани, но посмотрел на Эмилию. На ее лице появилась удивленная улыбка, и Филипе обмяк. Стани явно ожидал поединка по борьбе и, похоже, не знал, что делать с братом теперь, когда тот прижат, поэтому я быстро пересекла комнату, чтобы присоединиться к клубку тел на полу. Я ухмыльнулась Эмилии, сжала руки в клешню и стала щекотать своих крепких юных братьев. Они оба непонимающе посмотрели на меня, но потом, когда Эмилия взывала от смеха, подыграли мне.

Труде и Эмилии пришло время уходить, и Филипе со Стани настояли на том, чтобы сопровождать их. Когда мы смотрели, как четверка поднимается в лес, чтобы пересечь холм на пути в город, мама покачала головой.

– Этот мальчик беспокоит меня, – пробормотала она.

Я точно знала, какого мальчика она имела в виду.

После того дня я стала тенью Филипе. К тому времени оккупация длилась уже несколько месяцев, и я вообще ничего не слышала о Томаше, так что мне нечем было заполнить свои мысли, кроме переживаний за него и боязни, что моего брата вот-вот убьют – и только один из этих моментов я могла контролировать. Я была занята тем, что следовала за Филипе по ферме, при любой возможности убеждая его беречь себя.

Я действительно думала, что самым большим риском для Филипе было искушение присоединиться к Сопротивлению, но у него даже не было шанса отправиться на поиски опасности, потому что довольно скоро она пришла к нам. Однажды утром, когда мы с мамой в поле собирали картофель, я была напугана звуком грузовика, грохочущего по дороге рядом с нашим участком. Когда он проезжал мимо, солдат на пассажирском сиденье уставился прямо на нас, и из моего рта вырвался звук, который был почти криком.

– Мама...

– Сохраняй спокойствие, – тихо проговорила мама. – Что бы ни было, Алина, не паникуй.

Пульсация крови эхом отдавалась в ушах, мои руки тряслись так сильно, что мне пришлось прижать их к земле, дабы унять дрожь. В конце концов я села на корточки и в ужасе

смотрела, как грузовик останавливается прямо у ворот нашей фермы. Четверо солдат спрыгнули на землю и подошли к сараю, где работал отец.

Я не слышала, о чем они говорят, – мы были слишком далеко. Это был очень быстрый визит – солдаты вручили отцу листок бумаги и ушли, так что я успокоила себя, что все в порядке. Я наблюдала за грузовиком, пока он ехал по дороге к дому Голашевского.

Мама внезапно встала и побежала к дому, я оставила корзину в сторону и последовала за ней. Когда мы добрались до отца, мы обнаружили, что он читает объявление, тяжело прислонившись к дверному косяку сарая.

Отец казался ошеломленным. Он медленно моргал, и краска сошла с его лица.

– Что это? – требовательно спросила мама и выхватила бумагу у него из рук. Пока она читала, у нее из горла вырвался тихий звук.

– Мама, папа... – прохрипела я. – Что случилось?

– Иди и приведи своих братьев, – глухо сказал отец. – Нам нужно поговорить.

Мы сели за стол, и каждый из нас по очереди прочитал про себя листовку. Это была повестка – все семьи в нашей округе, у которых имелись дети старше двенадцати лет, должны были отправить их для распределения на работы. Я была слишком расстроена, чтобы прочитать все полностью; каждый раз, когда я пыталась, мое зрение затуманивалось сле-

зами. Тем не менее я была полна решимости сохранять хоть какой-то оптимизм или, еще лучше, найти лазейку.

– Должен быть способ обойти это, – заявила я во всеуслышание. Мои братья обменялись нетерпеливыми взглядами, но я лишь надавила сильнее, пытаясь найти выход из этой неразберихи. – Они не могут заставить нас покинуть нашу семью и наш дом. Они не могут...

– Алина! – резко оборвал меня Филипе. – Это те же самые люди, которые застрелили Алексея и мэра на глазах у всего города. Это те же самые солдаты, которые заставляют еврейских детей в городе работать от рассвета до заката, это те же свиньи, которым ничего не стоит забить женщин и детей до смерти, если они ослушаются. Те же люди, которые силой забрали маленькую Паулину Новак только потому, что у нее светлые волосы. Ты действительно думаешь, что они будут колебаться, увозить ли группу подростков из их дома, только потому что мы можем затосковать?

В тот вечер я рано легла спать, закрыла дверь и оглядела свою маленькую комнату – мой крохотный мир. Мои родители разделили наш небольшой дом на три комнаты – хотя по сегодняшним стандартам две из этих комнат считались бы смехотворно маленькими, не больше, чем шкафы. Мы были фермерами – крестьянами, на местном наречии – людьми, которые зарабатывали с нашей земли ровно столько, чтобы прокормить себя, и в засушливые годы каждый колосок пшеницы был на вес золота.

Так много раз с тех пор, как уехал Томаш, я отчаянно хотела сбежать из этого дома в Варшаву, чтобы быть с ним. Однако тогда я думала, что уйду от своей семьи в манящие объятия ждущего меня Томаша: совершенно иной сценарий, нежели тот, в котором меня насильно отрывали от корней и отправляли к враждебным незнакомцам во враждебную страну. Я жила здесь, на ферме, в разрушенном мире, ежедневно поднимаясь с постели только потому, что каждый восход солнца мог по крайней мере принести новости о Томаше, о том, что он в безопасности. Если нацисты заберут меня, как он вообще меня найдет? Откуда я узнаю, что с ним стало? Месяцы, прошедшие с момента его последнего письма, казались невыносимыми. А как же я смогу выжить, если незнание станет постоянным состоянием?

Я лежала в кровати, обхватив свои плечи, и очень старалась быть храброй, но с ужасом представляла себя далеко от семьи, в месте, где я не знала языка и где я была не любимым и всеми опекаемым младшим ребенком, а просто одинокой беззащитной девушкой. В конце концов я закрыла глаза и погрузилась в тяжелый сон, но спустя некоторое время проснулась от приглушенного шепота моих родителей в гостиной. Я не совсем разобрала, о чем они говорили, поэтому выскользнула из кровати и встала у двери.

– Но Станислав – самый сильный. Мы должны оставить его у себя – без него мы не сможем управляться с фермой. По крайней мере, мы оставим Филипе – у него нет здраво-

го смысла, и он будет болтать без умолку, если мы его отпустим...

– Нет! Алина крошечная, слабая и слишком хорошенькая. Она еще совсем ребенок! Если мы отправим Алину, она точно не выживет. Мы должны оставить ее здесь.

– Но если мы оставим ее, ферма ни за что не выживет!

Я открыла дверь, и оба моих родителя подскочили на своих стульях. Отец отвернулся, но мама обратилась ко мне и нетерпеливо произнесла:

– Возвращайся в постель!

– О чем вы говорите? – спросила я.

– Ни о чем. Это не твоя забота.

Надежда расцвела в моей груди. Это было такое заманчивое ощущение, что мне пришлось надавить немного сильнее, хотя я знала, что на меня, скорее всего, накричат за это.

– Вы нашли способ, чтобы мы остались?

– Возвращайся в постель! – сказала мама, и как я и ожидала, ее тон не оставлял места для споров.

После этого я не смогла уснуть, и позже, когда я услышала, как мои родители раскладывают диван, служивший им кроватью, я подождала немного, пока они заснут, а затем прокралась мимо их кровати в крошечную комнату мальчиков в другом конце дома. Мои братья бодрствовали, лежа валетом на топчане, который они делили. Когда я вошла в комнату, Филипе сел и раскрыл мне объятия.

– Что происходит? Мы можем все-таки остаться?

Он отстранился от меня и уставился на меня с недоверием.

– Ты что, не читала объявление?

– Я прочитала большую часть... – солгала я, и он тяжело вздохнул.

– Одному из нас дадут разрешение остаться здесь и помогать родителям управляться на ферме. Мама и папа должны выбрать, – тихо произнес Филипе. Он откинул мои волосы с лица, а затем добавил: – Но просить их выбирать между своими детьми – жестокость, которую мы не потерпим. Мы со Стани уедем. Но тебе придется много работать, Алина, а ты у нас лентяйка, так что тебе придется нелегко. Однако для тебя безопаснее остаться здесь.

– Я скоро выйду замуж за Томаша и перееду в Варшаву, – упрямо сказала я.

– Алина, – нетерпеливо прошептал Станислав, – в Варшаве не осталось университета. Я слышал, что все профессора были заключены в тюрьму или казнены, а большинство студентов вступили в вермахт. Томаш либо в тюрьме, либо работает на этих монстров, но это даже не имеет значения – ты попросту не сможешь уехать.

Я была возмущена самой мыслью, что Томаш когда-либо присоединится к нацистским войскам.

– Как ты смеешь...

– Тихо, Алина, – устало произнес Филипе. – Никто точно не знает, где Томаш, так что не расстраивайся заранее. – За-

тем он взглянул на меня и медленно добавил: – Но если ты останешься здесь, у него будет шанс найти тебя, если уж ему удастся выбраться из города, чтобы вернуться домой.

Я и сама думала о том же. На миг я жадно ухватилась за эту идею, впрочем, тут же осознала, в чем она заключалась. Я попыталась представить свою жизнь без близнецов, и одна лишь мысль об этом наполнила меня одиночеством.

– Я не хочу, чтобы вы уходили, – со слезами прошептала я, и Станислав вздохнул.

– Что ж, Алина, в противном случае ты должна будешь отправиться на работы вместо нас. За много километров от мамы и отца, совсем одна.

Разумеется, мои слова не остановили мальчиков. Когда настал день их отъезда, мы с родителями проводили их в Тшебиню до железнодорожного вокзала. Матеуш, Труда и Эмилия встретили нас там, и когда Эмилия увидела нас, она подскочила ко мне и грустно улыбнулась.

– Совсем как тогда, когда мы прощались с Томашем, – прошептала она.

Я рассеянно кивнула, полностью поглощенная щемящей сценой. День был пасмурный, как и при отъезде Томаша, и мы снова стояли на перроне – но Эмилия сильно ошибалась, потому что я сразу ощутила, насколько этот момент отличается. На этот раз люди на платформе отправляли своих близких не в какое-нибудь захватывающее приключение. Никто из этих детей не покидал Тшебиню, чтобы отправить-

ся учиться или познавать мир. Их у нас просто украли. Для захватчиков они были не более чем рабочей силой, которую можно использовать, но те из нас, кто остался, понимали, что с корнем вырвана часть души нашего района. Надя Новак, которая уже потеряла мужа во время бомбежки и у которой забрали для германизации ее драгоценную Паулину, стояла на этой платформе и громко плакала, прощаясь со своими тремя старшими детьми. Надя слилась с толпой других матерей, рыдавших от ужаса и горя, и отцов, судорожно прочищавших горло и отчаянно теревших глаза, чтобы скрыть любой намек на слезы.

Молодые люди по большей части стояли как вкопанные. Некоторые – самые юные – плакали, но это были не те безудержные эмоции, которые мы видели у их матерей, – это были слезы недоумения. У меня возникло ощущение, что даже после того, как поезд прибудет на рабочие фермы, этим молодым людям понадобятся недели, чтобы смириться с реальностью своего положения.

И я была бы одной из них, если бы не мои братья.

Я почувствовала облегчение с тех пор, как было принято решение, что останусь я. Но стоя здесь, в полной мере осознавая последствия того, как легко я приняла благородный поступок братьев, я почувствовала, как внутри поднимается волна горя, угрожая сбить меня с ног.

Эмилия внезапно потянула меня за руку, я посмотрела вниз и наткнулась на ее пристальный взгляд.

– Как ты думаешь, Томаш все еще жив? – спросила девочка. Я моргнула, удивленная и вопросом, и смиренным тоном, которым она его задала. Я мысленно встряхнулась и заставила себя сосредоточиться, потому что было что-то неправильное в таком взрослом, печальном тоне милой маленькой Эмилии. Я взъерошила ее волосы и твердо сказала:

– Конечно! Он жив, с ним все в порядке, и он делает все возможное, чтобы вернуться к нам.

– Почему ты так уверена?

– Он обещал мне, глупышка. Томаш никогда бы не нарушил данного мне слова.

Ее пронзительные зеленые глаза не отрывались от моего лица, и мне потребовалась вся моя сила, чтобы не отвести взгляд. Потому что я знала: стоит мне это сделать, и Эмилия увидит меня насквозь. Была ли я уверена в том, что говорю? Нисколько. Но несмотря на все отчаяние, охватившее нас в тот день, я хотела уберечь Эмилию хотя бы от одного – от сомнений в ее любимом старшем брате.

Она порывисто кивнула и снова уставилась на собравшуюся вокруг нас толпу. Вскоре прозвучало объявление о том, что молодым людям пора рассаживаться по вагонам. Филипп шагнул ко мне и заключил в медвежьи объятия.

– Присматривай за мамой и папой, Алина. И работай старательно.

– Я так хочу, чтобы ты остался! – всхлипнула я, чувствуя себя в этот момент настолько виноватой, что даже не могла

заставить себя посмотреть ему в глаза.

– Я не могу остаться, зная, что тогда придется ехать тебе, – мягко проговорил он, поцеловал меня в лоб и прошептал в мои волосы: – Будь мужественной, сестренка. Ты намного сильнее, чем думаешь.

Мои глаза заволокло слезами, когда ко мне подошел Стани. Он безмолвно поцеловал меня в щеку; он молчал, даже когда обнимал родителей. Отец словно застыл: напряженные мышцы, крепко стиснутые зубы. Мама тихонько плакала. Труда так крепко сжимала руку Матеуша, что ее пальцы побелели, но выражение ее лица было непроницаемым.

Мальчики одновременно кивнули и отошли, чтобы присоединиться к очереди у вагона. Они шли, высоко вскинув подбородки, и им обоим удалось улыбнуться и помахать нам в ответ, прежде чем они исчезли из поля нашего зрения.

Я была поражена их мужеством и сбита с толку тем, что даже такой момент, казалось, ни капельки их не смутил. Конечно, они были в ужасе – они были всего лишь мальчишками, и все то, что пугало меня в этой отправке на принудительные работы, полагаю, давило и на них. Ни один из них не говорил по-немецки, ни один из них никогда раньше не жил вне дома. Я знала, что они смогли скрыть свой страх по причине благородства и самопожертвования, точно так же, как приняли решение уехать вместо меня. Они были хорошими людьми – лучшими людьми.

Я все время думаю о своих старших братьях и порой за-

даюсь вопросом, поступила бы я в тот день по-другому, если бы только знала, что в течение года оба погибнут и что те печальные минуты на вокзале будут последними, когда я их вижу.

Глава 6

Элис

Мама перевернула дом престарелых вверх дном, но не смогла найти коробку. Теперь она возвращается к себе домой; у нее на складе хранится кое-что из вещей Бабчи и Па. Прошло уже несколько часов, и она еще немного задержится, но Эдди нажимает кнопку «Обед» на своем айпаде десять раз в минуту, и это сводит меня, Бабчу и медсестер с ума. Я убавила звук, но Эдди снова включил его – точно так же, как до этого бабушка. Одна из медсестер довольно мягко спросила, могу ли я забрать у него гаджет, но это его голос и его уши, поэтому я отказалась.

С одной стороны нам повезло, потому что сейчас время обеда, когда он ест суп или йогурт, а с другой, в высшей степени не повезло, потому что, учитывая утреннее фиаско в магазине, ни того, ни другого у меня под рукой нет. Эдди просто нужна банка супа, или, еще лучше, несколько тубиков йогурта, если мы сможем найти что-нибудь с подходящей этикеткой. Я должна позвонить Уэйду. Я должна убедить его проехать по пути с работы через магазин и привезти Эдди поесть или, еще лучше, прийти и забрать Эдди домой. Причина, по которой я не хочу этого делать, заключается в том, что я уже знаю, как пойдет этот разговор.

Я скажу, что это чрезвычайная ситуация. Что я не просила бы, *если бы у меня была альтернатива, но я не могу оставить Бабчу одну – она и так достаточно расстроена. И я не знаю, сколько еще мама будет отсутствовать, а Эдди отчаянно нуждается в еде.*

Уэйд издаст все нужные звуки, и затем появится какая-нибудь впечатляющая причина, по которой он не сможет помочь. Он уже предупреждал, что у него запланированы встречи, так что я думаю, он снова прибегнет к этому заранее подготовленному оправданию.

Я подумываю о том, чтобы просто смириться с бесконечными требованиями механического голоса: обед, обед, обед – и с ожиданием, но Эдди выглядит слишком расстроенным. Кажется, будто он вот-вот сорвется, и теперь, задумавшись, я понимаю: это настоящее чудо, что мы до сего момента обошлись только одним приступом. Я вздыхаю и набираю номер Уэйда.

– Милая, – отвечает он после первого гудка. – Я так волновался! Как дела?

– Все ужасно, – признаюсь я. – Бабча не может говорить, и я не думаю, что она хорошо нас понимает. С помощью айпада она сообщила нам, что из дома ей нужна коробка с фотографиями, но мама не может ее найти. А Эдди не получил сегодня утром свой йогурт, потому что в *Publix* появилась новая упаковка, и у него случился срыв, и теперь он голоден, так что скоро нам грозит еще один срыв, и я больше не в со-

стоянии одна справиться со всем этим. Мне нужна твоя помощь. Я помню, ты говорил, что занят...

– Мне так жаль, дорогая. У меня встречи...

– Мне больше некому позвонить, Уэйд!

Я повышаю голос, и Эдди с Бабчей оборачиваются на меня с удивлением. Даже если они не понимают слов, интонация, по-видимому, говорит сама за себя. Я вздрагиваю, виновато пожимая плечами, делаю глубокий вдох, чтобы немного успокоиться.

– Я не могу забрать его домой, Элис, – немного натянуто говорит мой муж. – У меня просто слишком много...

– Не волнуйся, Уэйд. Я не прошу ничего нереального, например, чтобы ты провел день со своим сыном, – шиплю я, слышу его резкий вдох и понимаю, что мы вот-вот поссоримся. Снова. Вероятно, потому, что он ведет себя как осел, и тот комментарий, который я только что озвучила, находится в диапазоне где-то между злым и стервозным, поэтому гарантированно вызовет у него оборонительную реакцию. Я закрываю глаза и, стараясь придать голосу более мирный тон, говорю: – Я только прошу тебя купить несколько банок супа или немного йогурта, если ты сможешь найти старую упаковку. Привези их мне сюда, в больницу. Со всем остальным я разберусь сама. – Мой тон меняется снова, теперь я почти умоляю: – Пожалуйста, Уэйд! Пожалуйста!

Он вздыхает, и я мысленно представляю мужа в его кабинете, говорящего по телефону. Он будет сидеть неподвижно,

потому что я его раздражаю, а потом взъерошит волосы, потому что расстроен тем, как я только что с ним разговаривала. Даже сейчас, в ужасной тишине, пока я жду его ответа, я знаю, что он постоянно водит рукой по волосам, и когда раздражение станет слишком сильным, он положит руку на затылок и резко уронит.

Но точно так же, как после стольких лет совместной жизни я совершенно ясно представляю эту картину, я знаю, что он сделает то, о чем я прошу, потому что в противном случае он давно бы на меня огрызнулся и один из нас или даже оба в гнев сбросили бы звонок.

– Я сейчас приеду.

– Попробуй зайти в магазин рядом с вашим офисом, у них, возможно, остались продукты со старыми этикетками. – Помявшись, я осторожно спрашиваю: – Ты ведь помнишь, как они выглядели, верно? Я пришлю тебе фото. То же самое и с супом. Ты тоже должен достать правильный суп.

– Я не идиот, Элис! – нетерпеливо говорит он, и я слышу, как он собирается. – Я уже выхожу.

Уэйд – отличный отец, хотя если рассматривать его поведение только через призму его взаимодействия с Эдди, можно заподозрить обратное. Он редко общается с Эдди, он постоянно сопротивляется терапии, которая помогает нашему сыну выжить в этом мире, он пренебрежителен и нетерпелив, и он совсем меня не поддерживает.

Но с нашей дочерью Паскаль – или Келли, как мы обыч-

но ее называем, – Уэйд образцовый родитель. Он с головой погружен в свою работу, но находит способ присутствовать на всех ключевых событиях в ее жизни – заседаниях дискуссионного клуба, балетных концертах, собеседованиях с родителями, встречах с врачами. Келли и Уэйд обычно делают вместе домашнее задание, хотя она редко нуждается в его помощи. Их связывает даже двенадцатая глава в книге о Гарри Поттере, которую они сейчас читают на ночь вслух, поочередно, как и другие книги, которые они читали друг другу по страничке каждый в течение последних трех лет. В прошлом году она впервые влюбилась и рассказала Уэйду о Тайлере Уилсоне еще до того, как сообщила мне.

Но я даже не могу вспомнить, когда в последний раз Уэйд и Эдди оставались наедине.

Уэйд считал, что у нас совершенно нормальный сын, пока Эдди не исполнилось восемнадцать месяцев и я не отвела его к врачу, который повесил на нашего мальчика ярлык. И этот ярлык все испортил. Уэйд решил, что я была настолько убеждена, будто с Эдди что-то не так, что это стало своего рода самореализующимся пророчеством, а впоследствии я потратила массу времени, пытаясь нейтрализовать пророчество, но фактически сломала сына.

И муж отчасти прав насчет паранойи, потому что с того момента, как я поняла, что беременна, я знала: что-то *не так*. Не представляю, как я об этом догадалась, поэтому могу оценить утверждение Уэйда, что каким-то образом я са-

ма все это спровоцировала, по крайней мере, на начальном этапе. Возможно, эта теория могла бы быть верной вплоть до того, как Эдди исполнилось два года и педиатр по развитию произнес: «Расстройство аутистического спектра». Мы еще не понимали, насколько все будет плохо, но, несомненно, диагноз стал явным признаком того, что ситуация вышла из-под моего контроля.

Я не понимаю, как мой блестящий муж, человек с докторской степенью, руководящий целой исследовательской программой, может не понимать, насколько я беспомощна, когда дело доходит до нашего сына. Я марионетка, управляемая медицинскими работниками и терапевтами. Они советуют мне все, что нужно сделать, чтобы общаться с Эдди. Некоторые из этих вещей, такие как ААК на айпаде, помогают мне связаться с ним, но большинство их методов лечения вообще не доходят до него – они просто позволяют нам выжить. Ни одна из этих терапий не сделала его другим – Эдди просто сам по себе другой. Вот где мое мнение и мнение Уэйда расходятся.

Уэйд считает, что все мои усилия помогают избалованному маленькому мальчику, который мог бы быть ближе к обычному, если бы мы просто больше подталкивали его, а не потворствовали. Уэйд разговаривает с Эдди, потому что он не может смириться с тем, что мне очевидно: язык Эдди действительно сильно ограничен. Уэйд рассматривает эхолалию Эдди как игру – способ оскорблять и насмехаться над нами

– и доказательство того, что Эдди мог бы использовать вербальный язык для общения, если бы захотел. Не помогает и то, что, когда Эдди видит Уэйда, он часто повторяет: «Не сейчас, Эдисон». Хотя мне странно, почему эта фраза у него сохранилась, ведь Эдди вообще больше не предпринимает особых попыток общаться со отцом.

Уэйд предпочитает забывать, что поначалу вполне поддерживал медицинское вмешательство. Казалось, у него была надежда, что диагноз Эдди автоматически означает, что наш сын станет ученым, и Уэйд вроде бы свыкся со всей этой ситуацией вплоть до того момента, пока психолог не сообщил нам, что IQ Эдди немного ниже среднего, так что он вряд ли обладает какими-либо причудливыми, но гениальными способностями. Мой муж, будучи гением, мог бы смириться с тем, чтобы иметь блестящего, пусть и странного ребенка; у нас уже есть один такой – Келли, и они лучшие друзья. Но с вердиктом «ниже среднего» Уэйд справиться не смог, сам аутизм был той самой соломинкой, которая сломала спину верблюду.

Вот тогда и началась игра в вину – но я не осуждаю Уэйда, потому что я тоже в нее играю. Мой муж и, что более важно, его сперма за эти годы провели очень много времени в окружении интенсивных промышленных химикатов, и он не раз подвергался воздействию радиации на работе. И – о, небеса! – предоставленный самому себе, Уэйд ужасно питается. Мы обвиняем друг друга в проблемах Эдди – единственная

разница в том, что у Уэйда иногда хватает смелости высказать свои мысли по этому поводу вслух. Может быть, в этом он лучше меня, потому что, по крайней мере, он честен. Я ношу свою обиду на Уэйда, как жернова на шее, и порой осознаю, что рано или поздно что-то сломается.

Он прибывает через двадцать две минуты после нашего разговора, и как я и ожидала, он измотан. Уэйд ходит на работу в костюме, потому что сейчас он исполнительный менеджер. Когда он утром выходит из дома, его галстук всегда впечатляюще прямой. В данную минуту он находится под несколько сумасшедшим углом, а светлые волосы мужа торчат во все стороны. Он выглядит смущенным, когда входит в больничную палату, его руки застряли в натянутых ручках двух перегруженных пакетов.

– Привет, ребята, – бессмысленно говорит он Бабче и Эдди, сидящему на кровати, затем кивает мне и поднимает сумку в левой руке. – Я купил целую коробку супа – она в машине. У них осталось много йогурта со старой этикеткой, поэтому я купил все – вот половина. – Он поднимает другой пакет немного выше и кивает в его сторону. – И здесь куча с новым лейблом... – На мой непонимающий взгляд он нерешительно отвечает: – Ну... ну, знаешь, чтобы он мог к этому привыкнуть.

Эдди никогда не привыкнет к этому ярлыку. Я пока не знаю, как мы с этим справимся, но тот факт, что Уэйд думает, будто решение настолько просто, является вопиющим

напоминанием о том, как далек он от осознания ситуации.

– Спасибо.

Я ожидаю, что Уэйд передаст мне сумки, вежливо поцелует меня и развернется на каблуках, но вместо этого он ставит сумки на пол и притягивает меня в объятия. Я удивлена этим и еще больше удивлена, когда он нежно целует меня в волосы.

– Прости, Элли. Мне правда очень жаль. Я знаю, что сейчас на тебя много навалилось, а от меня мало помощи.

Я вздыхаю и наклоняюсь к нему, обвиваю руками его торс и нахожу утешение в его теплых объятиях. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Редкие моменты, в которые мой муж вновь становится собой, поддерживают наш брак. В эти эпизодические моменты я улавливаю на горизонте проблеск надежды. Все, что мне нужно, чтобы продолжать работать, бороться и пытаться, – этот самый проблеск, хотя бы время от времени. И он случается как раз тогда, когда мне это особенно нужно.

– Я просто на эмоциональном взводе, – шепчу я. – Я тоже очень сожалею... о том, что произошло.

– Тебе поможет, если я останусь сегодня днем?

Он не предлагает отвезти Эдди домой, но его предложение близко к тому, что мне нужно, и я ценю это.

– Вообще-то, – говорю я, – у Келли балет в четыре. Если бы ты мог забрать ее из школы, сводить на балет, а потом отвезти домой и приготовить ужин...

– Конечно, – отвечает Уэйд с энтузиазмом, а может быть, с

облегчением. – Разумеется, я это сделаю. Все что скажешь. – Он прикасается своими губами к моим, снова смотрит на кровать. – Как у тебя дела, Бабча?

– Она не понимает тебя, – напоминаю я ему. – Она использует ААК – если ты хочешь поговорить с ней, тебе придется им воспользоваться.

Уэйд напрягается, потом неопределенно машет рукой в сторону кровати и смотрит на часы.

– Мне нужно вернуться в офис и сказать им, что я собираюсь уйти пораньше. Увидимся вечером дома. Дай знать, если тебе понадобится что-нибудь еще.

– Хорошо.

«Обед, – говорит айпад Эдди, и затем: – Обед, обед, обед, обед, обед, обед, обед...»

– Ладно, ладно, – вздыхаю я, наклоняюсь и беру упаковку йогурта. Сын так взволнован, что садится и начинает размахивать руками во все стороны.

Спустя шесть тюбиков йогурта Эдди устраивается на кровати и снова смотрит видео с поездками на YouTube. Но тут в палату влетает мама с архивной коробкой в руке, Бабча сияет и тут же начинает нетерпеливо хлопать в ладоши.

Глава 7

Элис

Мама ставит коробку на столик с подносом, а я сажаю Эдди на стул рядом с кроватью. Бабча теряет терпение и без нашей помощи принимает сидячее положение, так что нам приходится поспешно отрегулировать угол наклона ее кровати и поправить подушки. Она отмахивается от нас и тянется к коробке, ее руки дрожат. В ее взгляде читается благоговение, и время от времени она бросает на маму взгляд, полный благодарности и облегчения. Я пытаюсь помочь Бабче снять крышку с коробки, когда становится очевидно, что она не может скоординировать свою правую руку, но как только я это делаю, она прижимает крышку к себе и неловко обнимает ее предплечьями.

– Где она была? – тихо спрашиваю я маму.

– Под ее кроватью в отделении для пенсионеров, я пропустила ее в первый раз, когда пошла туда, – бормочет мама, качая головой. – Я не подумала, что Бабча хранит коробку так близко, хотя следовало бы догадаться. Она всегда была такой сентиментальной.

Последние слова она произносит таким тоном, как будто речь о совершенно ошеломляющей черте характера, и это на мгновение забавляет меня.

– Как и ты, мама, – посмеиваюсь я, и она мрачно смотрит на меня. – Ты забываешь, что я помогала тебе и папе с переездом. Я знаю, что ваш чердак – это, по сути, «Музей семьи Сласки-Дэвис».

Она сберегла мои рисунки и сочинения, начиная с детского садика, билеты в кино с первых свиданий с отцом; она сохранила на память документы о ее пути к должности судьи и, поскольку она помешана на букве закона, самостоятельно отредактировала определенные детали, где они могли стать проблемой с точки зрения конфиденциальности. Я пыталась немного уменьшить количество коробок с сувенирами, когда они переезжали, но мама упрямо держалась за каждый кусочек нашей истории, и когда я указала, насколько бессмысленными кажутся эти отредактированные файлы, она сказала мне, что каждая страница вызывает воспоминание о деле, которое что-то значило для нее. Я подозреваю, мама боится, что рано или поздно у нее случится слабоумие, как у Па. Может быть, эти обрывки из нашего прошлого важны на тот случай, если однажды они понадобятся в качестве карты, чтобы вернуть ее к воспоминаниям, которыми она дорожит.

В то же время забавно, что в доме моей матери, построенном в индустриально-минималистичном стиле, есть чердак, до краев заполненный коробками с макаронным искусством, письмами и нерассортированными фотографиями. Сейчас мама вздыхает и печально улыбается мне.

– Полагаю, она научила меня, что некоторые вещи просто

невозможно заменить, – бормочет мама, и мы обе оглядываемся на Бабчу, которая, глядя в коробку, неловко вытирает слезы с лица. – Она никогда этого не говорила, – добавляет мама, – но я всегда чувствовала, что эти мелочи стали значить для нее очень много, потому что она была вырвана с корнями из своей жизни там, в Польше.

Бабча нетерпеливо указывает на айпад Эдди, а он на середине видео с поездом, поэтому, когда сын прижимает устройство к себе, я готова к тому, что он начнет сопротивляться и, возможно, даже кричать, словно младенец. Вместо этого он смотрит на нее, моргает, пролистывает ААК и протягивает ей. Бабча улыбается ему, нажимает на значок «Спасибо» и показывает его маме, которая кивает, опускаясь на стул с противоположной стороны кровати. Как только внимание Бабчи переключается, мама начинает тереть лоб и на мгновение закрывает глаза. Она выглядит измученной – возможно, более уставшей, чем я когда-либо ее видела, когда ждала на финише каждого из ее восьми марафонов.

– Мама, – шепчу я. – Ты в порядке?

– Мне нужна эта больница, чтобы собраться и выяснить, что с ней происходит. Я не могу продолжать брать отгулы – я должна принять решение, и это просто... – Она резко замолкает, затем поднимает на меня взгляд и хмурится. – Это слишком, Элис. Ты просто не можешь понять.

За любым редким проблеском уязвимости со стороны мамы всегда следует напоминание о том, насколько она жиз-

ненно важна, и часто небольшой укол, подобный этому, – напоминание о том, насколько ничтожна моя роль по сравнению с ее. Я разговариваю со своей мамой почти каждый день, и по стандартам большинства моих друзей мы очень близки, но это трудная близость, потому что быть «близко» к Юлите Сласки-Дэвис чертовски трудно. Почти каждый разговор заканчивается тем, что мы повышаем друг на друга голос. Такова динамика нашей семьи: она не понимает моей жизни, которая вращается вокруг детей; я не понимаю ее жизни, которая вращается вокруг закона, но мы все равно безумно любим друг друга. Мама была полна решимости направить меня по своим стопам. На худой конец, я должна была стать адвокатом, и до определенного возраста я даже не сомневалась, что таким и должен быть мой путь. Только за год до колледжа мне пришло в голову, что мне не нужно заниматься юриспруденцией. Однако как только я решила «потратить свою жизнь впустую» и изучать журналистику, мои отношения с мамой изменились навсегда.

Все снова поменялось в тот день, когда за две недели до окончания школы я сообщила, что беременна, а последний гвоздь в крышку гроба был забит, когда я даже не потрудилась найти работу для выпускников. Казалось, в этом не было никакого смысла, раз я не собиралась работать в течение нескольких лет после рождения ребенка, но мама считала это непростительным. Разве я не понимала, как упорно мои прабабушки боролись в первую и вторую волны феминиз-

ма за мое право на карьеру? Как я могла предать их, приняв жизнь, в которой я зависела от мужчины?

Даже десять лет спустя у меня все еще не хватает смелости сказать маме, что зачатие Келли было не случайностью, а скорее результатом тщательно обдуманного решения, которое мы приняли с Уэйдом: я не пойду по стопам своей матери, даже в своем подходе к материнству. Мама училась, строила карьеру, а потом в сорок три года впала в панику и подумала, что, наверное, ей все-таки лучше завести ребенка. Я очень люблю свою мать и восхищаюсь ею, но я всегда занимала в ее жизни второе место, на первом стояла работа. И я была полна решимости никогда не позволить своим детям чувствовать себя второстепенными. У нас с Уэйдом на первом месте должны были стоять наши дети, потому что мы оба были абсолютно уверены: я найду свой путь и построю карьеру, как только они пойдут в дошкольное учреждение.

Потом появился Эдди.

У жизни есть способ напомнить вам, что вы находитесь во власти случая и что даже хорошо продуманные планы могут в одно мгновение превратиться в хаос. Вот почему сейчас, когда у меня возникает соблазн осудить свою мать за ее отчаянное желание вернуться на работу, несмотря на состояние Бабчи, я заставляю себя быть с ней терпеливой. Мама была здесь два дня подряд совсем одна, за исключением ограниченного времени, которое я провела с ней. У нее нет братьев и сестер, я ее единственный ребенок. Папа на пенсии,

но он играет в гольф на Гавайях со своими старыми приятелями по академии, и она слишком горда, чтобы попросить его вернуться домой. Сейчас на плечах моей мамы лежит вся тяжесть мира. Если ей нужно ненадолго погрузиться в свою работу для некоторой эмоциональной передышки, так тому и быть.

– Хорошо, мам, – негромко говорю я. – Эдди завтра в школу... Я могу приехать прямо в больницу после того, как отвезу его, и посидеть с Бабчой, если тебе нужно пойти в судебную палату и навестить упущенное.

– Хорошо, – говорит она, вскидывая подбородок. – Спасибо, Элис.

Бабча берет мою руку и направляет к коробке. Я вынимаю стопку фотографий и бумаг, а затем отодвигаю столик с подносом, чтобы положить все это ей на колени. Ее руки двигаются медленно и неуклюже, когда она перебирает первую стопку фотографий. Они представляют собой беспорядочную путаницу технологий печати и эпох – фотографии папы, мамы, меня, моих детей и самой Бабчи на протяжении десятилетий, несколько редких фотографий любимых собак с тех времен, когда Бабча и Па жили в своем большом доме в Овьедо. Но всего через несколько слоев в стопке Бабча застывает на одной фотографии, которую я никогда раньше не видела – это отпечаток цвета сепии на толстой, старинной бумаге. Глянecь на фотографии потрескался, но изображение все еще четкое.

Это молодой человек, непринужденно сидящий на валуне на фоне леса. На нем настолько изношенные ботинки, что сквозь дыру в мыске левого виден рваный носок. Его одежда такая же потрепанная, но он широко улыбается в камеру. Он невероятно худой – но, несмотря на изможденные щеки под редкой бородкой, все еще красив. В его глазах есть что-то поразительное – он выглядит так, словно сдерживает смех.

Руки Бабчи дрожат, когда она поднимает фотографию и со вздохом подносит ее к щеке, прижимая к своей коже. Она на мгновение закрывает глаза и склоняет голову к изображению, затем поворачивает, чтобы показать его мне.

Я вижу, что фото очень ценно для моей бабушки, и поэтому стараюсь взять его с соответствующим почтением. Я пристально смотрю на фотографию, и меня поражает, что этот незнакомый молодой человек кого-то напоминает.

Секунду спустя Бабча протягивает руку к фотографии и переворачивает ее. На обороте я вижу надпись, чернила выцвели, мелкий почерк плотно сжат.

*Фотограф Генри Адамцевич, Тшебиня, 1 июля 1941
года*

Я зачитываю надпись вслух для мамы, а затем передаю фото обратно Бабче.

– Бедная Бабча. Она так скучает по Па, – говорю я. Мама неодобрительно хмурится и снова смотрит на фотографию.

– Уверена, что скучает, – соглашается мама. – Но это не

Па.

– Откуда ты знаешь?

– До того, как он поседел, волосы у Па были темными. У этого мужчины волосы светлее, если только оттенки на снимке не обманчивы, – говорит мама и пожимает плечами. – К тому же... Я не знаю. Этот парень просто не похож на Па. У него не те глаза... форма губ. Хотя в некоторых его чертах определенно есть что-то знакомое. Он очень похож на тебя. У мамы были братья-близнецы. Это, должно быть, один из них.

– Интересно, кто этот Генри Адамцевич? И 1941 год – это уже после войны?

– Нет, война закончилась только в 1945 году, – ворчит мама, а затем мы все смотрим на фотографию, как будто она может сама себя объяснить. Бабча вытирает слезу со щеки, затем снова тянется к айпаду.

На экране возникает надпись:

«Томаш. Найти Томаш. Пожалуйста найти Томаш».

– Ты уверена, что это не Па? – Я тереблю маму. Она берет у меня фотографию, пристально смотрит на нее, качает головой:

– Я абсолютно уверена.

Бабча сейчас выглядит такой расстроенной, что если бы она могла говорить, я почти уверена, она бы кричала на нас обеих. Я сдвигаю брови и смотрю на маму, которая хмурится в ответ. Беспомощность и разочарование заставляют мою

мать выглядеть гораздо более уязвимой, чем я привыкла. Гораздо более человеческой. Я чувствую еще один чужеродный укол сочувствия к ней.

– Она так растеряна, – бормочет мама, смотрит на дверь, и разочарование перерастает в гнев. – Почему персонал не слушает меня? Они должны были бы пересмотреть ее когнитивное состояние. Очевидно, что здесь повреждено нечто большее, чем просто речь.

Бабча нажимает кнопку воспроизведения на айпаде.

«Пожалуйста найти Томаш. Твоя очередь».

Я сглатываю и беру айпад. Мама сейчас смотрит в потолок, быстро моргая. Так что, думаю, именно мне придется напомнить бабушке, что ее мужа больше нет. Нарастающий ужас захлестывает меня, и я немного дрожу, пока вожу пальцем по экрану, затем издаю стон разочарования и пытаюсь сделать свой собственный значок.

«Па умер», – печатаю я, но Бабча хватает меня за запястье, яростно трясет головой и выхватывает у меня айпад с удивительной силой. Она возвращается к ААК и находит значок, который мы не использовали в течение двенадцати месяцев, – Па. При виде его образа боль в моей груди усиливается.

«Нет Па. Найти Томаш».

Затем она переключается на экран «Новый значок» и с кропотливым усилием начинает печатать. Теперь она делает

свою собственную новую иконку. Это изображение домов, пригородной улицы. Она старательно добавляет метку: Тшебиня. ААК пытается прочесть это слово вслух, но я почти уверена, что произношение неточно.

– Это слово есть на фотографии. Это гора в Польше? – спрашиваю я маму.

Она мрачнеет, рассматривая иконку.

– Это место, где она выросла. Видишь? Она не в себе. Я говорила тебе.

Я беру айпад и даю еще один бесплодный поиск символа «смерть» – но лучшее, что я могу сделать, это: «Па нет. Мне жаль».

И снова Бабча качает головой, выражение ее лица теперь искажается от разочарования, она берет айпад и тычет пальцем в экран. Она указывает на меня, потом на фотографию.

«Не Па. Тшебиня».

Она поднимает глаза, видит мое замешательство, затем листает экраны, пока не находит страницу с национальными флагами. Она выбирает красно-белый и добавляет его к своему предложению.

«Не Па. Тшебиня. Польша. Томаш».

Эдди наблюдает за всем этим почти удивленно и нетерпеливо тянется к айпаду, который Бабча автоматически протягивает ему. Он выходит из программы ААК и загружает карты *Google*, затем быстро набирает Польша. Карта сдвига-

ется к Европе, затем сосредотачивается на Польше, и Бабча указывает на нижнюю половину экрана и смотрит на меня, как будто это должно все объяснить.

Теперь моя очередь взять айпад. Я возвращаюсь к ААК, копирую название города, а затем вставляю его в гугл-карты. Когда экран снова фокусируется на городе, Эдди визжит от восторга и хлопает в ладоши. Я и не знала, что он умеет пользоваться гугл-картами. Я делаю мысленную пометку упомянуть об этом его учителю, потому что, похоже, сын действительно увлечен этим.

Бабча лучезарно улыбается ему, потом мне. Я улыбаюсь ей в ответ, и какое-то время мы все просто сидим и ухмыляемся, как придурки.

– Это все, чего она хотела, как ты думаешь? – интересуюсь я у мамы, которая пожимает плечами.

– Посмотреть карту?! – предполагает мама, с сомнением морщась.

Бабча переводит взгляд с мамы на меня, выжидает, затем, осознав, что мы все еще ничего не понимаем, кривится в гримасе. Она полностью завладела нашим вниманием, но мы беспомощны, и она явно очень огорчена. Я не знаю, что делать дальше, но опять нас спасает Эдди. Он проводит пальцем по экрану и переключает его обратно на ААК, затем передает его Бабче и кладет руку ей на предплечье.

Каждый раз, когда я смотрю фильм, в котором персонаж страдает аутизмом и его единственной отличительной чер-

той является отсутствие эмпатии, у меня возникает почти непреодолимое желание разбить свой телевизор. Эдди временами срывается, даже сводит с ума, но его сердце огромно. Он может никогда не заговорить и не сможет жить независимо, но есть то, о чем вам никогда не скажут: одно объятие маленького мальчика, который ненавидит обниматься, может полностью изменить ваш день. Эдисон Майклз понимает разочарование лучше, чем кто-либо из моих знакомых. Он распознает даже его самые тонкие флюиды, потому что разочарование определяет каждый аспект его жизни.

Бабча печатает, а затем воспроизводит слова, просто чтобы убедиться, что мы все их слышим.

«Найти Томаш. Пожалуйста мамочка. Найти Томаш. Тшебиня. Польша».

На этот раз, поймав взгляд Бабчи, я замираю и внимательно смотрю на нее. Ее глаза – блестящие и ясные. Она выглядит решительной, расстроенной и никак не сбитой с толку. Я все еще не представляю, что ей нужно, но по непонятной причине уверена, что она точно знает, чего хочет.

– Мам, – медленно говорю я, – я не думаю, что она не в себе.

– Элис, похоже, она пытается объяснить нам, что ее покойный муж в Польше, – вздыхает мама. – Конечно, она не в себе. Бога ради! Мы все знаем, что Па в урне в ее отделении дома престарелых.

В течение следующих нескольких минут Бабча повторяет

через ААК снова и снова:

«Найти Томаш. Пожалуйста мамочка. Найти Томаш. Тшебиня. Польша».

Мама качает головой и тяжело вздыхает, затем отворачивается от кровати.

– Теперь она хочет поговорить о Польше! – негромко возмущается она. – Теперь, когда она не в состоянии говорить. Ты не хуже меня знаешь, насколько они с Па избегали разговоров о своей жизни в Польше. Мы с тобой обе прошли через это в подростковом возрасте, когда практически допрашивали ее о войне, и она всегда закрывала разговор.

«Найти Томаш. Мамочка найти Томаш».

Я снова смотрю на маму, и она всплескивает руками.

– Господи, она называет тебя мамочкой! – раздражается она, но я наклоняюсь и редактирую надпись под своей фотографией, затем многозначительно нажимаю на значок.

«Элис».

– Лучше? – обращаюсь я к маме, и она нервно вздыхает. Бабча снова тянется к айпаду.

«Найти Томаш Элис. Пожалуйста найти Томаш. Твоя очередь».

Я беру айпад и смотрю на ее сообщение, затем делаю глубокий вдох и печатаю обещание, хотя не уверена, что смогу его выполнить.

«Да Бабча. Элис найти Томаш».

Она читает сообщение, потом смотрит на меня, в ее глазах блестят слезы. Я целую ее в обветренную щеку и вздыхаю.

– Полагаю, мы можем говорить ей то, что она хочет услышать, – натянуто произносит мама.

Я могу понять, почему мама так сказала, но мои действия продиктованы не этим. Это не ложное обещание, которое я даю своей бабушке, чтобы просто утешить ее.

Это та женщина, которая почти каждый день забирала меня из школы, в доме которой меня всегда ждала порция свежеспеченного печенья. Это та женщина, которая приходила на все мои школьные собрания и концерты, потому что мама всегда была занята. Эта женщина научила меня справляться с разбитым сердцем в подростковом возрасте, помогла мне подать документы в колледж и получить водительские права.

И, что важнее всего, эта та женщина, которая каким-то образом научила меня быть женщиной, женой и матерью. Благодаря Ханне Сласки я та, кто я есть сегодня, и теперь, когда она нуждается во мне, я не подведу ее. Я искренне намерена сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей найти то, что она ищет.

Глава 8

Алина

Даже в самые худшие времена жизнь обретает свой ритм, и дни сливаются в один. Первый год оккупации не был исключением из этого правила. Все происходило по определенному распорядку, который начинался и заканчивался мыслями о Томаше. Большую часть времени я даже думать себе не позволяла, что, возможно, тоскую по мертвецу.

К тому же вокруг было много всего, что вызывало беспокойство.

С того дня, как увезли Стани и Филипе, мое существование словно было ограничено клеткой. Родители запретили мне покидать ферму, лишь разрешали время от времени видеться с Юстиной на границе между нашими владениями. Поначалу я возражала против этого и была уверена, что найду способ их переубедить. Эмилия, Труда и Матеуш жили в городе, у меня там были друзья, и, кроме того, ферма, безусловно, была не более безопасна, чем город. Мы часто наблюдали нацистские грузовики, грохочущие по дороге перед нашим домом. С тех пор как началась оккупация, перестали выходить газеты, кроме изданий нацистской пропаганды, которые отец отказывался читать. Беспроводная связь тоже была запрещена – отец уничтожил свой драгоценный радио-

приемник после указа о том, что любой поляк, у которого будет обнаружено подобное устройство, будет казнен.

Из-за невозможности покинуть ферму я была полностью отрезана от мира.

Я отчаянно нуждалась в каких-либо известиях вообще, но особенно ждала новости о рабочих фермах или о Варшаве, где, по моим предположениям, остался Томаш. Когда отец ездил в город, я умоляла его позволить мне присоединиться к нему, но ничто из сказанного мной не могло его поколебать. Он пообещал, что спросит о близнецах и Томаше, но долгое время не было никаких известий, и я со своим подростковым высокомерием была уверена, что смогу добиться большего.

– Ты, конечно, слышала о *lapanka*⁹, – как-то раз небрежно сказал мне отец.

– Об игре? – спросила я, недоуменно наморщив лоб. – Да, конечно, мы играли в нее в детстве...

Lapanka была очень похожа на английскую игру «пятнашки».

Отец пожал плечами.

– Нацисты теперь тоже играют в *lapanka*, Алина. Они перекрывают концы улицы в поселке, собирают всех внутри и

⁹ Лапанка (*по-польски*: łapanka) – польское название одного из основных способов задержания немцами прохожих на улицах оккупированных городов для отправки в концентрационные лагеря или на принудительные работы в Германию во время Второй мировой войны. Название происходит от названия довоенной детской игры.

увозят в лагерь или тюрьму по малейшему поводу.

– Я не дам им повода, – возразила я.

– Могу я взглянуть на твое удостоверение личности?

Я моргнула, смущенная этой, как мне показалось, резкой сменой темы. Недавно нам было приказано постоянно носить с собой удостоверения личности, но это все еще не вошло у меня в привычку, и, кроме того, мы сидели в столовой, и я считала, что нахожусь в безопасности.

– Оно в моей комнате, отец.

– Ну, вот тебе и повод, Алина, – решительно сказал отец. – Если бы мимо проходил солдат и поймал тебя без удостоверения личности, тебя бы схватили и, возможно, даже застрелили на месте. Ты это понимаешь? Ты говоришь, что хочешь поехать в город, но даже здесь, дома, не можешь соблюдать основные требования для обеспечения собственной безопасности.

После этого мама ко всем моим юбкам пришила карманы для документов, удостоверяющих личность, и я кипела от злости на отца. Я была уверена, что он несправедлив, что я вполне способна запомнить правила, если он даст мне шанс проявить себя. Проблема в том, что для поддержания подобного настроения требуется много энергии, а с исчезновением близнецов мне нужно было направить ее на работу на ферме.

В результате стало не так уж важно, разрешено ли мне покидать ферму, чтобы навестить друзей в городе, потому что в большую часть дней у меня даже не было сил дойти до гра-

ницы поля, чтобы поболтать с Юстиной. И оказалось несущественно, есть у меня карман на юбке или нет, потому что чаще всего по утрам я продолжала забывать положить удостоверение личности внутрь. Нам пока не устраивали выборочных проверок удостоверений личности на ферме, и, хотя рассказ отца об облавах-*lapanka* в городе немного напугал меня, я еще не осознавала, насколько близка опасность.

С понедельника по субботу я трудилась с мамой на земле, порой работая в поле с восхода солнца до заката. Ранним утром я выводила животных пастись, выпускала кур во двор, а потом работала с родителями в поле. Почти все приходилось делать вручную, бесконечно трудоемкий цикл вспашки и посадки, прополки и сбора урожая, затем снова вспашки.

Маме, отцу и двум моим крепким братьям, с учетом моей вялой помощи, удавалось справляться, но теперь близнецов не стало, а ревматизм отца обострялся всякий раз, когда приходили холода, поэтому маме и мне приходилось изо всех сил бороться, чтобы выполнять тот же объем работы. Волдыри на моих руках росли, пока не слились в один сплошной волдырь, который лопнул, и огрубевшая кожа постепенно стала плотной, испачканной землей мозолью во всю ладонь. Днем я так много времени проводила в согнутом состоянии, что ночью могла лежать только в позе эмбриона, потому что, попытайся я лечь прямо, мою спину свело бы судорогой.

Я переживала за своих братьев и за Томаша, но днем вся

эта борьба за выживание отнимала столько сил, что беспокойство стало просто белым шумом. Мы должны были выжать из земли все возможное, потому что от этого зависела наша жизнь. Долгие дни у меня не было других мыслей, кроме как о работе, и других чувств, кроме страха, который заставлял меня замирать всякий раз, когда мы видели нацистскую машину, проезжающую рядом с нашими воротами.

Только когда безумная гонка прекращалась, я позволяла себе перед сном сосредоточиться на Филипе, Станиславе и Томаше. Я молилась за своих братьев со всей оставшейся у меня энергией, а потом открывала ящик, нащупывала мамин о кольцо и на одно чистое мгновение предавалась мечтам о Томаше.

Иногда я погружалась в воспоминания, порой представляла наше воссоединение, часто думала о дне нашей свадьбы, представляя этот победный момент в самых нелепых подробностях, вплоть до количества рубиново-красных маков, которые будут в моем букете. Я все еще ясно видела Томаша в своем воображении – смеющиеся зеленые глаза, озорную улыбку, то, как его волосы падали на лоб, и его привычку откидывать их назад, только для того, чтобы они немедленно снова упали на лицо.

Проблема заключалась в том, что как только мысли о Томаше заполняли мой разум, меня одолевала безнадежная тоска. В эти минуты меня охватывало отчаяние от своей беспомощности, и я так рыдала перед сном, что наутро мои гла-

за все еще выглядели заплаканными.

У меня не было сил изменить свою судьбу. Все, что у меня было – способность дышать и крошечный кусочек надежды, что если я буду продолжать двигаться вперед, то смогу выжить, пока кто-то другой не изменит мир вокруг.

Квоты на нашу продукцию увеличивались и увеличивались. В конце концов отцу пришлось загрузить в тележку все имеющиеся у нас продукты и отвезти в город для передачи солдатам. Взамен ему вручили наши продовольственные талоны. Когда он в первый раз вернулся с полученной едой, я подумала, что как-то неправильно поняла договоренность.

– Ты будешь каждый день ездить за едой?

– Нет, Алина, – нервно произнес отец. – Этого нам должно хватить на неделю.

Пайки были не просто скудными, они были неприемлемыми. Отец вернулся с пакетом муки, небольшими кусочками масла и сыра, полудюжиной яиц и несколькими банками мясных консервов.

– Как мы будем жить на это? – спросила я родителей. – У нас так много работы – как мы сможем управляться на ферме только втроем, когда они кормят нас такими крохами?

– Есть много людей, которым приходится хуже, чем нам, – ответила мама.

– Хуже?!

Это казалось непостижимым. Мамин взгляд стал нетерпеливым, но на этот раз заговорил отец:

– Это почти семьсот калорий в день на каждого из нас. Евреям выделяется всего по двести калорий в день. И, детка, ты, похоже, всерьез считаешь, что наша работа на ферме тяжелая? В следующий раз поедем со мной в город, и посмотришь, как обращаются с еврейскими рабочими бригадами.

– Я хочу поехать в город! – возмутилась я, вздернув подбородок. – Ты мне не позволяешь!

– Там небезопасно, Алина! Ты знаешь, что эти монстры сделали с некоторыми девушками в городке? Знаешь ли ты, что может...

– Мы справимся, – внезапно прервала его мама, и все замолчали. Мне казалось, что у нас был выбор: нарушить правила и выжить или следовать правилам и голодать, и я боялась, что мои родители выберут второй вариант. Я прочистила горло и предложила:

– Мы могли бы просто оставить немного нашей еды... совсем чуть-чуть? Мы можем просто взять несколько яиц или немного овощей...

– Нацисты говорят, что наши фермы теперь принадлежат рейху, – ответил отец. – Соккрытие нашей продукции приведет к тому, что мы окажемся в тюрьме или еще хуже. Даже не думай об этом, Алина!

– Но...

– Оставь это, Алина, – твердо проговорила мама. Я в отчаянии посмотрела на нее, но отметила про себя ее решительную позу. Язык ее тела сказал мне то, что она не произнесла

вслух: у мамы был план, но она не собиралась делиться им со мной. – Просто делай свою работу и перестань задавать так много вопросов. Когда тебе нужно будет волноваться, мы с отцом скажем тебе, чтобы ты волновалась.

– Я уже не маленькая, мама! – воскликнула я в отчаянии. – Ты обращаешься со мной как с ребенком!

– Ты и есть ребенок! – возразил отец. Его голос дрожал от избытка чувств и печали. Мы впились глазами друг в друга, и я увидела, как во взгляде отца заблестели слезы. Я была так потрясена этим, что не совсем понимала, что делать. Желание настаивать и спорить с ними исчезло в одно мгновение. Отец быстро заморгал, глубоко вздохнул и сказал неровно: – Ты наш ребенок, и ты единственное, за что нам осталось бороться. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить тебя, Алина, и тебе следует дважды подумать, прежде чем задавать нам вопросы. – Его ноздри внезапно раздулись, и он указал на дверь, когда слезы в его глазах начали набухать. – Иди и делай свою чертову работу!

Я хотела настоять, и я бы это сделала, если бы не эти пугающие слезы в глазах отца.

После того дня я смирилась и просто продолжала двигаться в том ритме, в котором работа поглощала мою жизнь.

* * *

В не по сезону теплый день поздней осени я работала на

ягодном участке, который находился рядом с домом в том месте, где склон становился круче. Ранний ветер улегся, и солнце теперь светило в полную силу, так что я загорала. В обед я переделалась в свое любимое платье – легкий сарафан в цветочек, который унаследовала от Труды. Это, конечно, был довольно скромный наряд – у меня не было никаких нескромных нарядов, и я выбрала это платье, потому что вырез давал наслаждаться солнечным теплом, гревшим руки и грудь. Сидя на корточках, я собирала спелые ягоды и складывала их в плетеную корзину, выдергивая выросшие тут и там сорняки и бросая в кучу рядом с участком. У отца был необычно плохой день – у него так болели суставы, что мама решила остаться дома, чтобы поухаживать за ним.

Я услышала, как подъехал грузовик и замедлил ход. Я затаила дыхание, как всегда, когда слышала, как они с грохотом проезжают мимо нашего дома, но, увидев, что машина въезжает на нашу подъездную дорожку, резко выдохнула. Как только рев двигателя прекратился, раздался звук открывающейся двери.

Вот тогда-то я и вспомнила о своем удостоверении личности. Я не забыла положить его в карман плотной юбки, которая была на мне в то утро, но, переодевшись в обед, я оставила эту юбку на кровати, вместе с документом.

Я молилась, чтобы они ушли, не приближаясь ко мне, но продолжала стоять, потому что у меня было мало надежды, что моя молитва будет услышана, а я не хотела сидеть на кор-

точках в грязи, когда они подойдут. На этот раз их было только двое. Один – средних лет, лысеющий и такой толстый, что меня разозлила сама мысль о том, сколько еды он должен был съесть, чтобы иметь подобное телосложение. Его спутник оказался поразительно молод – вероятно, того же возраста, что и мои братья. Я задумалась об этом юном солдате – не страшно ли ему оказаться вдали от своей семьи, как, несомненно, страшно моим братьям. На мгновение я почувствовала укол сочувствия, но он почти сразу исчез, стоило мне увидеть выражение лица этого юноши. Как и у старшего товарища, на его лице застыла презрительная маска, когда он осматривал наш маленький дом. Учитывая небольшое расстояние между нами, нельзя было ошибиться в надменном изгибе его губ и раздувающихся ноздрях. По тому, как он расправил плечи и как его рука зависла над кожаной кобурой на бедре, стало ясно, что этот мальчик просто искал предлог, чтобы выпустить свою агрессию.

А я стояла в поле в открытом сарафане, без удостоверения личности – красный флаг развевался на ветру перед разъяренным быком.

Мужчина постарше подошел к дому, а молодой человек просто стоял и оглядывался по сторонам. Его пристальный взгляд проследил линию деревьев в лесу на холме выше и позади меня, затем переместился еще ближе к тому месту, где стояла я. Я всей душой желала, чтобы у меня был какой-нибудь способ стать невидимой, когда он повернулся лицом к

маме и отцу, а его взгляд скользнул мимо меня.

На секунду мне показалось, что он меня не заметил или не обратил на меня ни малейшего внимания, но как только я почувствовала облегчение и наконец выдохнула, молодой солдат нахмурился, а затем наклонил голову почти с любопытством. Как будто он сначала пропустил меня и только с опозданием заметил мое присутствие. Наши взгляды встретились. В его глазах читалось явное отвращение, но к нему примешивалось что-то еще, что-то сильное, тревожащее... Вожделение? Мой желудок сжался, и я отвернулась от него так быстро, как только могла, но все еще чувствовала на себе его взгляд, каким-то образом обжигающий меня, и с трудом подавила желание скрестить руки на груди.

Я знала, что не могу оставаться там, застыв на месте. Это привлекло бы ко мне еще больше внимания и увеличило бы вероятность того, что они приблизятся ко мне, и если бы они это сделали – мне конец. Я знала, что они не позволят мне войти в дом и взять документы – это было бы актом доброты, а доброты, по мнению нацистов, поляки не заслуживали. Они считали нас унтерменшами, недочеловеками – лишь немного выше евреев по их извращенной расовой шкале ценностей. Я должна была притворяться занятой – я должна была быть занятой! – разве не так мы должны были спасти себя? Быть продуктивными, поддерживать ферму в рабочем состоянии, трудиться любой ценой – это была наша мантра со времен вторжения. Я пыталась убедить себя,

что стратегия спасет меня и сейчас, даже перед лицом такой прямой угрозы со стороны этого солдата. Струйка адреналина в моем организме превратилась в поток, и я почувствовала, как по спине побежал пот. Я попыталась двигаться, но мои движения были резкими, а ладони такими влажными, что, когда я наклонилась, чтобы поднять плетеную корзину, она соскользнула обратно в грязь. Сотни ягод, которые я собрала, вывалились, и я в панике оглянулась, чтобы увидеть, как солдат презрительно смеется, безмолвно издеваясь надо мной.

Я опустилась на колени и начала собирать ягоды. Мои руки дрожали так сильно, что я не могла сосредоточиться, и каждый раз, когда я поднимала горсть ягод к корзине, я роняла столько же, сколько подбирала. Мне не нужно было поднимать глаза, чтобы знать, что он все еще смотрит на меня. Я чувствовала его напряженное внимание, как будто он мог каким-то образом видеть сквозь одежду. Если бы я побежала, они бы застрелили меня, а я была слишком напугана, чтобы мыслить достаточно ясно. Мне нужно было срочно придумать какое-то дело, которым я могла бы заняться и которое позволило бы вывести меня из-под его наблюдения. Я застыла под его пристальным раздевающим взглядом, выставленная на всеобщее обозрение в легком летнем платье, которое выбрала с таким невинным оптимизмом и надеждой приятно провести день на солнце.

Было слышно, как пожилой солдат и отец пытались раз-

говаривать по-немецки, но это было неестественно и неловко, потому что отец знал по-немецки немногим больше меня. Отец тихо сказал что-то об Освенциме, городе, недалеко от нашего.

И все это время молодой солдат пристально смотрел на меня.

Старший рывкнул на отца, а затем развернулся на каблучках и направился обратно к машине. Именно тогда молодой заговорил в первый раз. Он лениво повернулся к моему отцу, бросил презрительный взгляд на обоих родителей, снова посмотрел прямо на меня и произнес достаточно громко, чтобы я услышала, скороговорку, которую я не смогла перевести. Товарищ окликнул его, они забрались в машину и уехали.

Я рухнула в грязь, напуганная этим напряженным моментом, не понимая, почему даже сейчас, когда они ушли, мой желудок все еще сильно скручивает. Я прижала руки к животу, настолько сосредоточившись на своих ощущениях, что едва заметила приближение мамы.

– Ты в порядке? – резко спросила она. – С нами все нормально.

– У меня не было с собой документов...

Я поперхнулась. Мама застонала:

– Алина, а если бы они проверили...

– Знаю, – оправдывалась я срывающимся голосом. – Знаю, мама. Я все время забываю, но... В следующий раз я поста-

раюсь быть осторожнее.

– Нет, – отрезала мама, качая головой. – Ты, черт возьми, все время забываешь об этом, Алина. Мы больше не будем так рисковать. Я буду держать твои документы при себе и позабочусь о том, чтобы, если ты находишься снаружи, в поле, я была рядом.

Клетка вокруг меня сжималась, но после тех пяти минут, что я пережила, мне ничуть не хотелось возражать против этого.

– Чего они хотели? – поинтересовалась я у мамы.

– Они заблудились, искали дорогу к казармам. Отец думает, что они направляются в Освенцим, – сказала она, затем посмотрела в сторону холма, на миг ее взгляд стал отстраненным. Когда она снова повернулась ко мне, ее брови сошлись на переносице. – Я... в поле ты должна носить шарф или одну из папиных шляп. Ты должна... теперь ты всегда должна прятать свои волосы. Ты должна... – Она оглядела меня с ног до головы и провела рукой по своим волосам. – Возможно, тебе придется носить одежду твоих братьев... – Она снова замолчала, затем бросила на меня испытующий, несколько беспомощный взгляд. – Ты понимаешь, о чем я толкую, Алина?

– Я сделала что-то не так, мама? Что этот солдат сказал обо мне?

– Он разговаривал с отцом, – вздохнула мама. – И сказал ему, что у него «прелестная дочь». – Она встретилась со

мною взглядом и подняла брови. – Мы должны сделать все возможное, чтобы следующий проходящий мимо солдат не увидел «прелестную дочь». Мы не можем спрятать тебя совсем, поэтому попытаемся спрятаться другими способами. Тебе понятно?

Я никогда, никогда больше не хотела чувствовать себя такой незащитной. Я хотела сжечь это летнее платье и носить пальто везде, куда бы я ни пошла, до конца своей жизни. Я никогда раньше не задумывалась о своей внешности, но в тот день я ее возненавидела. Я ненавидела свои густые каштановые волосы и большие голубые глаза, я ненавидела линии своей груди и бедер. Если бы существовал способ стать невидимой, я бы с радостью им воспользовалась. Меня так и подмывало броситься внутрь и переодеться в широкую скучную одежду моих братьев прямо в эту секунду.

Мама опустилась на колени рядом со мной и помогла мне собрать оставшиеся ягоды, которые я рассыпала.

– Если они когда-нибудь приблизятся к тебе, – внезапно сказала она, – не сопротивляйся. Ты понимаешь меня, Алина? Позволь им делать то, что они... – Она пыталась подобрать слова, что было для нее большой редкостью. Я зажмурилась, а она протянула руку и схватила меня за предплечье, пока я снова не открыла их. – Им нет необходимости убивать тебя, если они получают от тебя то, что хотят. Просто помни об этом.

Я помотала головой, и мамина хватка на моей руке стала

болезненно крепкой.

– Изнасилование – это орудие, Алина, – сказала она. – Точно так же, как убийство наших лидеров было орудием, и похищение наших мальчиков было орудием, и попытки морить нас голодом до полусмерти – все это орудие. Они видят, что мы сильны перед лицом всех их других тактик, поэтому они попытаются контролировать нас другими способами – они постараются забрать нашу силу изнутри. Если они придут за тобой, будь достаточно умна и сильна, чтобы преодолеть инстинкт. Не пытайся бежать или сопротивляться. Тогда, даже если они причинят вред твоему телу, ты выживешь.

Я всхлипнула один раз, но она выдержала мой пристальный взгляд, пока я не кивнула сквозь слезы. Только тогда ее глаза смягчились.

– Алина, – вздохнула она. – Теперь ты понимаешь, почему мы не хотим, чтобы ты ездила в город? Мы все уязвимы. Мы все бессильны. Но ты, моя дочь... ты наивна и хороша собой... это подвергает тебя рискам, о которых ты только начинаешь догадываться.

– Да, мама, – едва выговорила я. Если честно, мне уже совершенно не хотелось покидать дом, не говоря уже о ферме. После того дня любая мысль о посещении города была на долгое время забыта.

То было не единственное появление солдат у наших ворот – выборочные проверки документов и случайные визиты, выводившие нас из равновесия, вскоре стали образом

жизни. Эти моменты всегда были ужасающими, но никогда больше я не чувствовала себя такой беззащитной, потому что тот раз, когда солдаты застали меня одну за работой в поле, был последним.

Теперь рядом со мной всегда была мама, а наши документы, удостоверяющие личность, надежно лежали в кармане ее нижней юбки. Больше никто и никогда не смог бы увидеть меня в моей собственной одежде, никто и никогда, подойдя к нашим воротам, не мог бы обнаружить меня с длинными волосами, распущенными по плечам.

В тот осенний день молодой нацистский солдат лишил меня невинности, даже не подойдя ко мне на сто футов.

* * *

По воскресеньям Труда и Матеуш гуляли с Эмилией на холме со стороны города, а затем спускались к нашему дому, чтобы составить нам компанию за обедом. Мы видели, как они идут: Эмилия – всегда рука об руку с моей сестрой, крепко держа в другой кулачке клочок бумаги или маленький букетик полевых цветов. Матеуш всегда шел рядом, чуть позади них, в качестве охраны, однако я понимала, что в конечном счете это бессмысленно. Если солдат захочет причинить кому-нибудь из нас вред, с этим ничего нельзя будет поделать, даже такому высокому и сильному мужчине, как мой шурин.

Эмилия быстро приспособилась к жизни в своей новой семье, а Труда и Матеуш обожали девочку. Эта малышка больше всего на свете любила две вещи – говорить со скоростью миллион миль в час и самые разные цветы. Готовясь к еженедельному визиту, она собирала маленький букет в парке в конце их улицы или рисовала нам с мамой какие-нибудь цветы мелкими, которые купила для нее Труда. В большинстве случаев цветы были ярко раскрашены, корявы и непохожи на настоящие, но представляли собой веселое произведение искусства, согревающее мое сердце. Порой она рисовала тяжелыми мазками и использовала только черный карандаш. Неважно, что было на рисунке – я всегда с удивлением и восторгом реагировала на ее подарок и в ответ бывала вознаграждена ее улыбкой. По воскресеньям лучезарная улыбка Эмилии становилась главным событием моей недели. Каждый раз она вручала мне свой маленький подарок, а затем, затаив дыхание, спрашивала, есть ли новости о Томаше. И каждый раз я притворялась, что все еще уверена, что с ним все в порядке, и только вопрос времени, когда он вернется домой.

– Конечно, жив! Он жив, с ним все в порядке, и он делает все возможное, чтобы вернуться к нам.

– Как ты можешь быть так уверена?

– Он обещал мне, глупышка. Томаш никогда бы не нарушил данного мне слова.

– Спасибо, старшая сестра, – крепко обнимая меня, взды-

хала она.

Жизнь на ферме была тяжелой, но в первые несколько лет по большей части спокойной. Теория мамы казалась правильной – мы не поднимали головы и усердно работали, и если не считать эпизодических выборочных проверок, оккупация бушевала где-то там, неподалеку, но не здесь. Мы голодали и скучали по нашим мальчикам, но жизнь была почти сносной.

По воскресеньям мне всегда напоминали, что в городе живет далеко не так просто. На тех воскресных обедах Труда и Матеуш держались стойко, но Эмилия была еще слишком мала, чтобы скрывать своё потрясение. Это вырывалось из нее без предупреждения, беспорядочными тревожными фразами, на которые никто не знал, как реагировать.

– А потом евреи ремонтировали здание, но солдат сказал «грязный еврей» и ударил старика по лицу лопатой и...

– Хватит болтать за обедом, Эмилия! – Труда всегда говорила с ней с идеальным сочетанием твердости и мягкости. Эмилия оглядывала сидящих за столом, прочищала горло и принималась есть молча. На другой неделе у нас был спокойный разговор о цыплятах, когда Эмилия посмотрела на меня и сказала без предисловий:

– В пруду в парке была мертвая женщина, Алина. Она плавала, опустив лицо в воду, и ее кожа была вся распухшая, а вода стала розовой.

– Эмилия! – Труда болезненно поморщилась, она явно

была встревожена. – Я говорила тебе... я говорила тебе – не смотри на это... Я говорила тебе...

Эмилия оглядела всех, сидящих за столом, и насупилась.

– Поешь еще немного, детка, – поспешно сказала мама и подхватила тарелку Эмилии, чтобы положить на нее еще один картофельный блин. – Не думай о таких вещах.

После обеда взрослые потягивали разбавленный кофе, и я часто брала Эмилию посидеть на ступеньках рядом с сараем, чтобы она могла свободно говорить в течение нескольких минут. Меня злило, что это милое, невинное дитя было окружено смертью и уродством, но я понимала, что ей нужно выговориться, даже если остальные члены нашей семьи не готовы это слышать.

– Мне нравятся Труда и Матеуш, но я скучаю по Томашу и папе, – однажды в воскресенье призналась она мне.

– Я тоже скучаю по ним.

– Мне не нравятся гадкие солдаты в нашем городе. И мне не нравится, что повсюду мертвецы. И мне не нравится, когда всю ночь стреляют, и я боюсь, что пуля попадет в меня.

– Я понимаю.

– Мне очень страшно, и я хочу, чтобы все это поскорее прекратилось, – сказала она.

– Я тоже.

– Никто и никогда не хочет говорить об этом. Все так злятся на меня, когда я говорю об этом. Почему они хотят притворяться, что этого не происходит? Почему мы не можем

поговорить об этом?

– Это просто такой способ, Эмилия. – Я грустно улыбнулась ей, притянула ее к себе и обняла. – Иногда, когда мы говорим о чем-то, это кажется более настоящим. Ты понимаешь?

Эмилия тяжело вздохнула и кивнула.

– Понимаю. Но я чувствую себя лучше, когда говорю об этом. Я хочу понять.

– Ты можешь поговорить со мной. Я тоже многого не понимаю, но я всегда буду слушать тебя.

– Я знаю, старшая сестра, – сказала она и наконец слабо улыбнулась.

Глава 9

Алина

Для семьи, живущей в нашем регионе, мы имели необычайно большое количество кур, поэтому в засушливые годы, когда неплодородная почва не позволяла собрать хороший урожай, мы выживали за счет яиц. Теперь их нужно было тщательно собирать, пересчитывать, и не дай бог уронить хотя бы одно, потому что нацисты установили нам норму ровно двадцать яиц в день.

Порой куры откладывали всего восемнадцать или девятнадцать. Когда это случилось впервые, у меня кровь застыла в жилах, и я в панике стала искать недостающие, а потом у меня свело желудок, когда я наконец признала свое поражение и сообщила родителям о недостатке. Однако на следующий день яиц оказалось больше двадцати – и, учитывая, что отец отвозил их в город только два раза в неделю, количество всегда выравнивалось еще до того, как солдаты узнавали, что их не хватает.

Мы всегда выполняли квоту. Очень редко оставалось одно или два лишних яйца. Какое-то время я думала, что Мать Мария слышит мои молитвы и мы получаем благословение, но со временем я стала немного более циничной.

В конце лета созрел и был собран очередной урожай, и

как нам было велено, мы отдали все до последнего кусочка.

Обычно эта пора для нас с мамой была напряженной, потому что после сбора урожая мы всегда делали запасы на зиму, но теперь, когда не осталось ничего лишнего, что можно было бы сохранить для себя, наши вечера оказались свободными. Это казалось немного странным, и я с удивлением обнаружила, что скучаю по бесконечным часам маринования и консервирования, которые мы с мамой проводили вместе все предыдущие годы.

Но однажды я проснулась посреди ночи и была сбита с толку густым запахом сахара, витавшим в воздухе. Я долго смотрела в потолок, гадая, не мерещится ли мне или, возможно, даже снится, но запах не исчезал, и я все больше недоумевала. Я выскользнула из постели, открыла дверь и обнаружила маму, стоявшую у плиты. В гостиной несомненно стоял сильный аромат сахара и клубники. Масляный свет был выключен – комната освещалась только тусклым мерцанием огня через решетку на плите. Мама смотрела в кастрюлю, ее взгляд был отстраненным и задумчивым.

– Что ты делаешь? – спросила я. Она вышла из оцепенения и уставилась на меня.

– Чищу кастрюлю, – резко сказала она. – Возвращайся в постель!

– Я... мама, – залепетала я, у меня внезапно пересохло в горле. Я не отрывалась от котелка над огнем, вдыхая насыщенный запах до тех пор, пока не заставила себя подтвер-

дить очевидное: – Это ведь варенье, мама. Я вижу, ты готовишь варенье.

Мама снова посмотрела на кастрюлю, еще немного помешала содержимое, а затем повернулась ко мне с вызовом во взгляде.

– Конечно же, это не варенье, – ответила она. Она подняла ложку, и я увидела, как с нее капает сироп. Образовалась капля, упала, за ней еще одна, но мама оставалась совершенно безмолвной, потянулись долгие мгновения, пока я смотрела на ложку, а мама – на меня. Моя сонливость прошла, я проглотила внезапный комок в горле и заставила себя снова взглянуть на маму. Выражение ее глаз было таким напряженным, что я не выдержала и снова перевела взгляд на ложку. В полутемной комнате густой красный сироп выглядел точь-в-точь как кровь. В доме было довольно жарко из-за огня, но меня пробил озноб.

Мама опустила ложку обратно в варево, помешивая его, уставилась в кастрюлю и пробормотала:

– Если бы тут было варенье, это означало бы, что я скрываю продукты, и если бы меня поймали за таким занятием, меня бы казнили. Они бы застрелили меня, или повесили, или забили до смерти. – Она выдержала еще одну долгую паузу, и для меня это молчание было наполнено явным ужасом перед очевидностью ее заявления. – Ты считаешь, я стала бы когда-нибудь так глупо рисковать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.